

От автора скандального «Евангелия от Иисуса»

ЖОЗЕ САРАМАГО ПЕРЕБОИ В СМЕРТИ



Жизнь отменяется. Книга, о которой говорят

О человеке, буквально «поднявшемся с земли», живущем как бы поперек основного течения, мудростью своей сравнимом лишь с немногими из наших современников и как мало кто оцененном человечеством, можно не говорить уже ничего. Жозе Сарамаго переступил ту грань, до которой он нуждался в оценках, — некоторым образом он вошел в пантеон и причислен к лику живых классиков. Однако и на девятом десятке его рано списывать со счетов.

Свидетельство тому — его последняя книга, вышедшая в Португалии в 2005 году (русский — едва ли не первый язык, на который она переведена). Речь в ней идет о самой привычной, банальной и неизбежной вещи в жизни — о смерти. Она же, как нам с вами хорошо известно, — издревле предмет литературы. Казалось бы, что нового здесь можно сказать даже многожды увенчанному лаврами писателю? Но Сарамаго не был бы верен себе, если бы опустил ся до перепева старой темы. Поэтому на девятом десятке он смерть просто отменил.

Читавшие эту книгу на португальском довольно часто качают головой — то ли в изумлении, то ли в осуждении: есть темы, считают они, которых после определенного возрастного рубежа писателям касаться просто опасно — и многие художники их старательно избегают. Пора, дескать, подумать и о душе. Но Жозе Сарамаго, как показывают вся его жизнь и все его книги, такой указ не писан. Ему всегда найдется что сказать о чем угодно, будь то литературный стиль, история, политика, жизнь, смерть или сам Господь Бог. «Я — не безбожник, — говорит он. — Ежедневно я пытаюсь отыскать приметы Бога, но, к несчастью, мне это не удастся».

*Максим Немцов,
координатор серии*

ОБ АВТОРЕ

Португальский классик современной мировой литературы Жозе Сарамаго родился 16 ноября 1922 г. в деревне Азиньяга (провинция Алентежо) к северу от Лиссабона. Прежде чем стать профессиональным писателем, был слесарем, чертежником, служащим отдела здравоохранения, сотрудником издательства, переводчиком и журналистом. В 1947 г. вышел его первый роман «Грешная земля». Затем последовал длительный перерыв, и только в 1966 г. Сарамаго опубликовал сборник своих стихов. Двенадцать лет работал литературным директором издательства, а также выступал как литературный критик в прогрессивном журнале «Сеара Нова». Автор более двадцати романов, пьес, сборников стихов и публицистики. Лауреат множества португальских и мировых литературных премий. Его работы переведены на все основные языки планеты.

В 1998 году Жозе Сарамаго была присуждена Нобелевская премия по литературе. Как и многие Нобелевские лауреаты последних времен, Сарамаго — человек левых политических взглядов (он член Коммунистической партии с 1969 г.), считает себя убежденным атеистом и пессимистом. В 1999 г. вместе с 300 известными европейскими интеллектуалами подписал письмо, осуждающее бомбардировки Сербии. В том же году писатель был кандидатом в депутаты Европарламента по списку компартии Португалии. Живет на канарском острове Лансароте (Испания).

ПРЕССА ОБ АВТОРЕ И РОМАНЕ

Самый одаренный из ныне живущих романистов.

*Гарольд Блум,
американский философ и литературовед*

Сарамаго — Творец в полном смысле этого слова, он создает отдельный, самодостаточный на первый взгляд мир, но мир этот настолько тесно переплетен с миром реальным,

нашим миром, миром нашей истории, что авторский вымысел как таковой отходит на второй план, и мы верим (причем искренне!) — да, вот так все оно и было, ну надо же, как иногда бывает...

*Камило Хосе Села,
испанский писатель,
лауреат Нобелевской премии по литературе 1989 г.*

Сарамаго меня просто поразил.

*Джон Фаулз,
английский писатель*

Сарамаго — это совершенно особый случай. Читать Сарамаго очень трудно, у него тяжелый язык. Чтобы его читать, нужно время. Я даже не уверен, что все те, кто покупает книги Жозе Сарамаго, их потом читают. Но продаются они очень хорошо.

...У популярности Сарамаго есть несколько причин. Во-первых, люди понимают, что это настоящая литература, великая литература. Люди устали от бестселлеров, от модных, но пустых книг. Другая причина популярности этого писателя — его ярко выраженная политическая позиция. Сарамаго — левый, и его существование дает испанским левым ощущение, что их политические взгляды подкреплены высоким искусством. И наконец, есть еще один важный момент: связанный с историей взаимоотношений Испании и Португалии. Дело в том, что мы соседи, но каждый живет сам по себе. И вот, когда появился Сарамаго, впервые за долгую историю наших двух стран и культур испанцы сочли португальского писателя своим. То есть стало возможно вести речь о рождении общеiberийского мироощущения. Не испанского, не португальского, а мироощущения всего полуострова. Романы Сарамаго переведены на все языки, и совершенно очевидно, что каждый его новый роман — это событие не меньшее, чем новый роман Гарсия Маркеса или Варгаса Льосы.

*Виктор Андреско,
директор Института Сервантеса (Испания)*

JOSÉ SARAMAGO

AS INTERMITÊNCIAS
DA MORTE

ЖОЗЕ САРАМАГО
ПЕРЕБОИ В СМЕРТИ



Москва, 2006

УДК 82(1–87)
ББК 84(4Пор)
С 20

José SARAMAGO
As Intermitências da Morte

Перевод с португальского
Александра Богдановского

Художественное оформление и макет
Антон Ходаковский

Сарамаго Ж.

С 20 **Перебои в смерти: Роман / Жозе Сарамаго; [пер. с порт. А. Богдановского. — М.: Эксмо, 2006. — 255 [1] с. — (Книга, о которой говорят).**

ISBN 5-699-18377-9

В стране, оставшейся незадуманной, происходит нечто невиданное с начала времен. Смерть решает прервать свои неустанные труды — и люди просто перестают умирать. Отныне их судьба — жить вечно. Эйфория населения сменяется отчаянием, все принимают изыскивать способы покончить с таким невыносимым положением. И вот, когда страна оказывается на пороге войны и хаоса, в игру вступает сама Смерть — и меняет правила. Но есть один человек, который отказывается им подчиниться...

Последний роман португальского классика мировой литературы, лауреата Нобелевской премии Жозе Сарамаго «Перебои в смерти» (2005) вызывает сейчас такие же споры, как и его скандальное «Евангелие от Иисуса». Впервые на русском языке.

УДК 82(1–87)
ББК 84(4Пор)

© José Saramago & Editorial Caminho, SA, Lisboa-2005. Published by arrangement with Dr. Ray-Güde Mertin, Literarische Agentur, bad Homburg, Germany

© Перевод А. Богдановский, 2006

© ООО «Издательство «Эксмо», 2006

ISBN 5-699-18377-9

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

За Жозе Сарамаго такое водится — и уже довольно давно: принять в качестве первоначального импульса совершенно невероятное допущение — и посмотреть, что из этого выйдет. С упорством, *не* достойным лучшего применения, лауреат Нобелевской премии 1998 года Жозе Сарамаго, давно разменявший девятый десяток, занимается одним, в сущности, делом — он, будто следуя призыву Александра Блока, стирает «случайные черты», только мир от этого становится не прекрасен, а, пожалуй, еще гаже и ужасней, чем в действительности.

Началось это лет двадцать назад, с легкой руки великого португальского поэта Фернандо Пессоа (1888–1935), который придумал целую систему (а система есть комплекс *взаимовлияющих* элементов) своих литературных двойников-гетеронимов, вдохнул в них жизнь, снабдил их внешностью, привычками, биографией, одарил талантом. Вот одного из этих фантомов — доктора Рикардо Рейса, поэта-неоязычника, последователя Горация — Сарамаго и отправляет в Лиссабон, где только что скончался сам Пессоа. (Нечто подобное произошло бы, если бы Иван Петрович Белкин, автор «Метели» и «Гробовщика», появился в Петербурге примерно через месяц после известных событий на Черной речке.) Пусть этот призрак, ставший человеком, обретет плоть и походит по улицам, поживет в отеле, куда вскоре придет навестить плод своего воображения его создатель — тот, кто был человеком, а ныне стал бесплотным признаком, существующим лишь в словах.

ЖОЗЕ САРАМАГО

О словах — разговор особый. Ни одного из них Сарамаго «в простоте не скажет», ибо для него слова — не столько строительный материал для создания образов, для выражения идей, сколько особый, независимый и отчасти даже враждебный мир, живущий по собственным законам, движимый по нарезанным бог знает когда — и главное, кем — колеям могучей силой инерции. С нею Сарамаго ведет постоянную борьбу, а вернее — тотальную войну, корежа, расплющивая, взламывая то, что принято называть «устойчивыми словосочетаниями» — нет в этом мире ничего устойчивого. Оттого и пестрят страницы его книг, написанных за последние двадцать лет, такими — иначе не скажешь — пассажами: «Он не то что был задет за живое — он был в это живое тяжело ранен...», «Как отпустить мальчика одного на ночь глядя, а поглядеть есть на что — кругом война да резня...», «...да не она испытывала страдания их, а они ее испытывали...», «как это — несолоно хлебавши? — вдосталь и досыта нахлебались они горько-соленого, как океанская вода, разочарования».

И в этой океанской воде Иберийский полуостров, по неведомой причине отколовшийся от европейского континента и превратившийся в «Каменный плот», поплывет... Куда? Зачем? А вот мы и узнаем. Что случится, если тихий издательский корректор, готовя к печати «Историю осады Лиссабона», вставит в одном месте отрицательную частицу? Как там дальше будут развиваться события португальской истории? Узнаете, если сумеете погрузиться в бесконечные, лишённые членения на абзацы периоды этой прозы, где реплики героев перебиваются — или подхватываются — голосом автора, где диалоги «утоплены» в повествовании «вьющемся и ветвящемся», со своим особым синтаксисом и пунктуацией.

А о том, что происходит в его новом, самом последнем романе, вышедшем в свет поздней осенью прошлого года, можно судить уже по первой фразе. Но — не судите, да не судимы будете. Лучше прочтите.

Александр Богдановский

Пилар — моему дому

Мы все меньше знаем о том, что такое человек.

«Книга Предупреждений»

*Подумай, например, еще раз о смерти —
и ты в самом деле удивишься, что не познал
благодаря этому явлению новые понятия,
новое поле действия языка.*

Витгенштейн¹

¹ Людвиг Йозеф Иоганн Витгенштейн (1889–1951) — австрийский философ. — Здесь и далее примечания переводчика.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ НИКТО НЕ УМЕР. И это обстоятельство, вопиющим образом противоречившее законам бытия, породило в умах жесточайшее смятение, с любой точки зрения более чем оправданное, ибо достаточно будет вспомнить, что, перелопатив или, если угодно, прошерстив сорок томов всемирной истории, не найдешь ни единого упоминания о таком поистине феноменальном случае, не нароешь никаких сведений о том, чтобы за целые сутки со всеми их двадцатичетырехчасовым изобилием, расчлененным на утренние, дневные, вечерние и ночные куски, никто не скончался от болезни, не погиб в результате несчастного случая, не свел счета с жизнью. Не было даже столь частых в праздничные дни аварий со смертельным исходом, иначе именуемых автокатастрофами, когда ликующая бесшабашность и избыток алкоголя бросают друг другу вызов на дорогах, стремясь — вот уж подлинно — определить, чья машина сумеет доставить их к гибели первой. Канун нового года не принес обычного и бурного потока смертей, и казалось, что ощеренная старуха-атропос¹ решила на де-

¹ Имя одной из трех сестер Парок, которая, согласно мифу, перерезает нить человеческой жизни.

нек отложить свои ножницы. Кровь, впрочем, лилась, и в немалом количестве. Пожарники, растерянные и оторопелые, извлекали из-под руин искалеченных людей: по всей математически выверенной логике катастроф им полагалось находиться в состоянии, определяемом формулой «мертвей не бывает», а они, однако же, несмотря на тяжелейшие ранения и несовместимые с жизнью травмы, оставались живы и живыми доставлялись под душераздирающий вой сирен в больницы. Никто не умер по дороге, зато все как один в ближайшее время опровергли неутешительные прогнозы врачей. Бедняга безнадежен, нам тут делать нечего, не сто́ит даже и начинать, тут медицина бессильна, говорил хирург операционной сестре, помогавшей ему натянуть маску. Тем не менее несчастный, который еще вчера был обречен, сегодня умирать отказывался. И такое творилось по всей стране. До самой полуночи последнего в году дня еще находились люди, намеренные принять смерть с неукоснительным соблюдением правил: и те, кто обращался к голой, так сказать, сути дела — а суть в том, что кончилась жизнь, — и те, кто тешился многочисленными ее свойствами и качествами, в которые она, эта самая, пресловутая и вышепомянутая суть, с большей или меньшей шумихой и помпой склонна облекаться в смертный час. Самый примечательный случай — имея в виду персону, с которой он произошел, — относился к весьма и весьма престарелой, всеми глубоко почитаемой королеве-матери. В двадцать три часа пятьдесят девять минут тридцать первого декабря ни один простак не дал бы за ее жизнь и горелой спички. Всякая надежда исчезла, врачи вы-

нуждены были капитулировать перед лицом неумолимой очевидности, августейшая же семья, в строгом порядке престолонаследия окружив одр болезни, безропотно ожидала, когда глава рода испустит последний вздох или коснеющим языком произнесет несколько прощальных слов, обращенных ли как моральное увещевание-завещание к любимым внукам, в виде красиво округленной ли фразы призванных остаться в неблагоприятно-дырявой памяти грядущих поколений верноподданных. Но ничего не произошло, а время будто замерло. Королеве-матери не становилось ни лучше, ни хуже, и иссохшее тело ее балансировало на грани бытия, ежесекундно грозя за эту грань соскользнуть, но еще вися на тонкой нити, которую по неведомой прихоти продолжала удерживать смерть — а то кто же. А мы тем временем переместились в следующий день, когда, как уже было сказано в самом начале нашего повествования, никто не умер.

И день этот уже сильно продвинулся за середину, когда разнесся и пошел гулять слух о том, что с наступлением нового года, а точнее говоря — с нуля часов первого января никто во всей стране больше не умрет. Можно было бы предположить, что источником этого слуха послужило поразительное упорство, с коим королева-мать цеплялась за жалкие остатки своей жизни, тем более что ведь и медицинский бюллетень, распространенный пресс-службой двора через средства массовой информации, не только подтверждал, что в состоянии ее величества за ночь произошли заметные изменения к лучшему, но и указывал, осторожно выбирая слова, на значительную

вероятность полного выздоровления. Слух, что вполне естественно, мог быть пущен и каким-нибудь похоронным агентством: Похоже, что в первый день нового года остались мы на бобах, или больничным персоналом: Этот наш, из двадцать седьмой, ни мычит, как говорится, ни телится, или дорожной полицией: Просто мистика какая-то, столько аварий на трассах, и ни одного убитого, чтобы задать остальным острастку. Итак, слух, источник которого установить удалось лишь впоследствии, и то — лишь благодаря дальнейшему развитию событий, оказавшихся весьма и весьма значительными, очень скоро проник в газеты, на радио и телевидение, достигнув ушей директоров и главных редакторов — людей, не просто умеющих издали, верхним, так сказать, чутьем улавливать события мирового значения, но и натасканных в случае надобности значение это еще и раздувать. В считанные минуты оказались на улицах десятки репортеров, расспрашивающих всех встречных и поперечных, а во взбудораженных редакциях встрепнулись и ожили батареи телефонов и начались лихорадочные опросы. Последовал шквал звонков в больницы, в «красный крест», в морги, в похоронные конторы, в разнообразные полиции, за исключением, ясное дело, тайной, а ответы поступали на удивление однообразные и краткие: Смертей не зафиксировано. Больше повезло одной юной тележурналистке: прохожий, поглядывая то на нее, то в объектив камеры, поведал о случае, виденном собственными глазами и бывшем точной копией случая с королевой-матерью. Незадолго до полуночи, рассказал он, как раз перед тем, как с колокольни донесся последний удар курантов, мой

дед, находившийся при последнем издыхании, вдруг открыл глаза, как если бы раскаялся в своем намерении умирать — и не умер. Журналистка пришла от всего услышанного в такой раж, что, не внемля ни жалобам, ни пеням: Что вы делаете, я не могу, мне надо в аптеку, дедушка ждет лекарства, — втащила прохожего в редакционный фургончик, приговаривая: Давайте, давайте, никакого лекарства деду вашему уже не нужно, — и машина, рванув с места, понеслась в студию, где в этот самый миг завершались последние приготовления к дебатам между тремя специалистами по паранормальным явлениям, а точнее говоря, двумя заслуженными колдунами и одной знаменитой ясно-видящей, срочно вытребованными на телевидение, дабы проанализировать и объяснить то, что иные острословы, для которых нет ничего святого, уже успели окрестить «недолетальным исходом». Помянутая нами репортерша совершила грубую ошибку, ибо истолковала слова своего источника так, будто старик, в буквальном смысле стоявший одной ногой в могиле, раскаялся в том шаге, который уже был готов совершить: то есть преставиться, загнуться, сыграть в ящик, — и решил отыграть назад. А между тем слова счастливого внука: Как если бы раскаялся, — сильно отличались от решительного: Раскаялся. Так что более тесное знакомство с тонкостями синтаксиса и особенностями глагольных форм в различных наклонениях помогло бы избежать недоразумения и последовавшей за ним выволочки, которую пунцовая от стыда и унижения журналистка огребла от своего непосредственного начальника. Впрочем, ни он, ни она не могли и представить себе, что прозвучавшие в пря-

мом эфире, а в вечернем выпуске новостей повторенные в записи слова будут миллионами людей истолкованы в том же превратном смысле, который в самом ближайшем будущем возымеет столь обескураживающее последствие, как возникновение организации граждан, твердо уверенных, что простым напряжением воли можно победить смерть и что, значит, незаслуженное исчезновение такого количества людей с лица земли объяснялось лишь прискорбным слабоволием многих и многих предшествующих поколений. Тем, однако, дело не кончилось. Поскольку люди, не прилагая к этому ни малейших усилий, продолжали не умирать, возникло еще одно массовое движение, и уж оно-то, опьяненное радужнейшей из перспектив, громогласно объявило, что золотой сон человечества, томивший его от начала времен — счастливое обладание вечной жизнью на этом свете, — сбылся и сделался общим достоянием, вроде солнца, которое восходит ежедневно, или воздуха, которым дышат все. Хоть оба движения оспаривали, так сказать, симпатии одного и того же электората, они все же сумели прийти к согласию, заключить союз и выбрать своим почетным председателем человека, явившего дарования предтечи, — того самого отважного старикана, который в высший миг сумел бросить вызов смерти и одолеть ее. По имеющимся у нас сведениям, ни малейшего значения не возымело то обстоятельство, что неугомонный дедок пребывал в глубокой коме и, по всем приметам, выходить из нее не собирался.

При том, что словосочетание «правительственный кризис» не вполне подходит для характеристики

тех единственных в своем роде событий, о коих мы намерены рассказать, ибо истинной нелепостью, неуместной и попирающей законы обыденной логики, было бы именовать так экзистенциальную ситуацию, сложившуюся из-за отсутствия смерти, поясним все же, что сколько-то граждан, сильно озабоченных своим правом получать достоверную информацию, принялись спрашивать самих себя и друг друга, какого лучшего власти не подадут никаких признаков жизни. Впрочем, министр здравоохранения, отловленный по пути с одного совещания на другое, объяснил журналистам, что в связи с полным отсутствием рациональных объяснений любое заявление правительства будет выглядеть вопиюще преждевременным: Мы накапливаем, добавил он, информацию, стекающуюся к нам со всех концов страны, и, пусть до сих пор не поступило никаких сведений о хотя бы единичном случае смерти, нетрудно представить себе, что сотрудники вверенного мне ведомства, пребывая в столь же глубоком удивлении, сколь и весь народ, попросту еще не готовы высказать свои соображения о таком феномене, равно как и о его последствиях, будь то ближайшие или отдаленные. О, если бы министр тут и остановился, то с учетом необычности ситуации мог бы рассчитывать на признательность граждан, но неизбывное стремление по любому поводу призывать их к спокойствию, этот тропизм¹, сделавшийся второй натурой политиков, тем паче — политиков у власти, эта машинальность, эта доведенная до автоматизма реак-

¹ Тропизм — направленное ростовое движение или изгиб органов растений, вызванные односторонним действием некоторого раздражителя.

ция завела его в опасные дебри, заставив добавить к сказанному еще и такие слова: Я, как должностное лицо, отвечающее за здоровье нации, даю честное слово всем, кто слышит меня, что для тревоги никаких оснований нет. Если я правильно понял, тотчас заметил какой-то журналист, стараясь, чтобы его тон не показался чересчур ироническим, по мнению господина министра, нас не должно тревожить то, что никто не умирает. Чистая правда, хоть и выражено другими словами. В таком случае, господин министр, позвольте мне напомнить, что еще вчера люди умирали, однако никому и в голову не приходило по этому поводу тревожиться. Ну, разумеется, мы привыкли, что люди умирают, и начинаем тревожиться, лишь когда смертность чрезмерно возрастает, как случается во время войны или, скажем, эпидемии. То есть когда нарушается рутина. Можно и так сказать. Но теперь, когда никто больше не умирает, ваш призыв к спокойствию кажется мне по меньшей мере парадоксальным. Велика сила привычки, и, признаюсь, не следовало в данном случае произносить слово «тревога». А какое же — следовало, я, господин министр, спрашиваю потому только, что, как журналист, сознающий обязательства, налагаемые на него профессиональным долгом, всегда стараюсь употреблять наиболее точные понятия. Министр, слегка раздосадованный такой настойчивостью, ответил сухо: А следовало бы произнести не одно слово, а пять. Какие же, господин министр. Не будем питать несбыточных надежд. Без сомнения, превосходный получился бы заголовок на первую полосу завтрашнего номера, однако редактор, посоветовавшись с главным редактором, счел безрас-

судным — и с точки зрения маркетинга тоже — глушить пламень народного ликования таким ушатом ледяной воды и распорядился поставить всегдашнее: Новый Год, Новая Жизнь.

В правительственном заявлении, распространенном уже глубокой ночью, премьер-министр, подтвердив, что по всей стране, начиная с Нового года, не отмечено ни единого случая смерти, призвал к взвешенным и ответственным оценкам и трактовкам происходящего, напомнил о возможности случайного совпадения, проистекающего от магнитных бурь или иных космических возмущений, о вероятном воздействии исключительного и крайне непродолжительного сочетания факторов, приведших к нарушению равновесия пространства и времени, и добавил, что в любом случае уже предприняты шаги по взаимодействию с компетентными международными организациями, каковые шаги имеют целью помощь правительству, деятельность которого будет тем эффективней, чем лучше будут скоординированы его усилия. Произнеся всю эту псевдонаучную белиберду, призванную опять же внести умиротворение в умы, воспаленные непостижимым, премьер заявил, что власти готовы к любым неожиданностям и при поддержке населения рассчитывают встретить во всеоружии весь тот комплекс социальных, политических, моральных и экономических проблем, который, вне всякого сомнения, будет вызван к жизни отмиранием смерти в том более чем вероятном случае, если это и вправду случится. Примем брошенный нам вызов бессмертия, воскликнул глава кабинета несколько экстатически, если такова воля господ, мы же не устанем возносить ему в наших мо-

литвах благодарность за то, что именно наш славный народ избрал он своим орудием. Все это означает, прибавил он про себя, завершив чтение, что вляпались мы, кажется, весьма основательно. О, знал бы он, что «основательно» в данном случае означает — даже не по шейку, а выше головы. Еще полчаса минуло в зыбком спокойствии, а потом в лимузин, увозивший премьера домой, позвонил кардинал. Добрый вечер, господин премьер. Добрый вечер, ваше высокопреосвященство. Звоню сказать, что я в шоке. Да и я тоже, положение очень серьезно, ни с чем подобным наша страна за всю свою историю до сей поры не сталкивалась. Да не о том речь. А о чем же тогда. О том более чем плачевном обстоятельстве, что вы, господин премьер-министр, зачитывая свое заявление, не сочли нужным вспомнить о краеугольном камне, о замке свода, о несущем перекрытии святой нашей веры. Виноват, ваше высокопреосвященство, боюсь, я не вполне улавливаю нить. Тогда слушайте, господин премьер-министр, в оба уха: без смерти нет воскресения, а без идеи воскресения нет религии. Вот дьявол. Что-что, простите, я не расслышал, повторите, пожалуйста. Нет-нет, ваше высокопреосвященство, я молчу, это, наверно, помехи, так сказать, интерференция, статические разряды, а может быть, покрытия нет, со спутниковой связью такое случается, не обращайтесь внимания, итак, вы говорили, что. Я говорил, что каждый католик, а вы, господин премьер-министр, не исключение, обязан знать, что церковь зиждется на идее воскресения, а кроме того, как могло вам прийти в голову, что бог способен желать собственного своего конца, утверждать подобное —

значит совершать тягчайшее из богохульств, прямое святотатство. Да помилуйте, ваше высокопреосвященство, не говорил я, что бог желает собственного своего конца. Так прямо, может быть, и не говорили, однако же допустили возможность того, что бессмертие плоти нам даровано волей всевышнего, и не надо быть доктором трансцендентальной логики, чтобы понять — кто сказал одно, сказал и другое. Ваше высокопреосвященство, да это же риторическая фигура, ораторский прием, призванный произвести впечатление, не более того, политика, сами знаете, требует. Церковь тоже много чего требует, господин премьер, но мы семь раз отмеряем, прежде чем отрезать, взвешиваем каждое слово до того, как произнести его, и если бросаем слова на ветер, то берем поправку и рассчитываем самый отдаленный эффект, ибо наше дело, если желаете доходчивый пример, сродни баллистике. Я в отчаянии, ваше высокопреосвященство. На вашем месте я бы тоже был в отчаянии, и после этих слов кардинал, помедлив и словно давая снаряду время долететь до цели и разорваться, добавил уже мягче и сердечней: Хотелось бы знать, господин премьер, ознакомлен ли с вашим заявлением его величество. Ну, разумеется, ваше высокопреосвященство, можно ли было поступить иначе в столь деликатном деле. И что же сказал вам наш государь — если это не государственная тайна. Одобрил. И в каких же выражениях. Потрясающе. Что — потрясающе. Его величество сказал мне: Потрясающе. То есть он тоже богохульствовал. Я, ваше высокопреосвященство, не считаю себя вправе выносить такого рода суждения, с меня хватает и собственных моих промахов. Мне при-

дется иметь беседу с королем и напомнить ему, что в столь сложном, запутанном и деликатном деле лишь неукоснительно-строгое следование доктринам святой нашей матери-церкви способно спасти страну от грозящего ей хаоса. Вам видней, ваше высокопреосвященство, вам и карты в руки. И я спрошу его величество, что предпочтительней: чтобы королева-мать вечно пребывала на смертном одре, подняться с коего ей не суждено, и брэнная, распадающаяся оболочка продолжала удерживать ее бессмертную душу или же — чтобы она, смертью смерть поправ, в сиянии вечной славы вознеслась к небесам. Ответ очевиден. Разумеется, но вопреки тому, что вы думаете, господин премьер, меня интересуют не столько ответы, сколько вопросы, причем — наши вопросы: обратите внимание, что обычно они разом содержат и находящуюся на виду цель, и скрытое позади намерение, и торят дорогу будущим ответам. Примерно так обстоят дела и в политике, ваше высокопреосвященство. Да-да, но преимущество церкви — хоть иногда так вовсе не кажется — в том, что она, имея дело с верхом, управляет низом. Последовавшую паузу нарушил премьер: Я уже почти дома, ваше высокопреосвященство, но позвольте коротенько осведомиться еще об одном. Прошу. Как быть церкви, если никто никогда больше не умрет. «Никогда больше», господин премьер-министр, это слишком общо даже по отношению к смерти. Сдается мне, ваше высокопреосвященство, что это — не ответ. Ах, не ответ — так вот вам встречный вопрос: что предпримет государство, если никто никогда больше не умрет. Да государство-то постарается выжить, а вот каково придется

церкви. А церковь, господин премьер-министр, до такой степени привыкла отвечать на вечные вопросы, что в другой роли я ее и вообразить себе не могу. Даже если это вступает в противоречие с действительностью. Мы с самого начала только тем и занимались и на том, с позволения сказать, стоим. А что скажет папа. На его месте — прости мне, господи, вздорную суетность! — я немедленно приказал бы пустить в обращение новую доктрину, а именно — доктрину отложенной смерти. И никаких объяснений. Церковь никогда ничего не просили объяснить, у нее другое ремесло: помимо баллистики, наше дело — верой смирять чересчур любопытный дух. Доброй ночи, ваше высокопреосвященство, всего хорошего, завтра увидимся. Если бог даст, господин премьер-министр, всегда и неизменно — если бог даст. По состоянию дел на текущий момент сомнительно, чтобы не дал и отменил наше свидание. Не забудьте, господин премьер-министр, что за рубежами нашей страны люди мрут исправно, как ни в чем не бывало, и это добрый знак. Как сказать, ваше высокопреосвященство, быть может, соседи видят в нашей стране оазис, эдем, новоявленный рай. Приглядись они получше, увидели бы ад. Доброй ночи, ваше высокопреосвященство, желаю вам поживать спокойно и крепко. Доброй ночи, господин премьер-министр, и если смерть сегодня решит вернуться к нам, пусть не спохватится и не вспомнит о вас. Если справедливость в этом мире — не звук пустой, королеве-матери идти прежде меня. Обещаю не передавать ваши слова королю. Я вам чрезвычайно признателен, ваше высокопреосвященство. Доброй ночи. Доброй ночи.

В три часа ночи кардинала доставили в клинику с острым приступом аппендицита, потребовавшим немедленного хирургического вмешательства. Прежде чем черный туннель анестезии всосал прелата в себя, в тот быстрый миг, который предшествует полному отключению сознания, он, как и многие-многие другие до него, подумал, что может уже и не проснуться, потом вспомнил, что подобный исход теперь невозможен, и, наконец, последней вспышкой пронеслась в голове мысль о том, что, если он умрет, это будет означать, что таким вот парадоксальным образом все же сумел победить смерть. Охваченный неистовым восторгом самопожертвования, кардинал хотел было попросить бога, чтобы убил его, но расставить слова в должном порядке уже не успел. Наркоз избавил его от неслыханного святотатства — вверить полномочия смерти тому, кто больше известен как дарующий жизнь.

ХОТЬ И НЕМЕДЛЕННО ПОДНЯТОЕ НА СМЕХ конкурирующими изданиями, сумевшими вырвать у вдохновения своих главных редакторов самые разнообразные и обстоятельные заголовки — попадались среди них драматические, встречались лирические, не редки были также философические и подернутые дымкой мистицизма, а то и проникнутые умилительным простодушием, которым решила, например, довольствоваться некая массовая ежедневная газета, завершившая вопль **ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ С НАМИ БУДЕТ** завитым хвостиком вопросительного знака, — однако уже упомянутый нами заголовок на всю полосу **НОВЫЙ ГОД, НОВАЯ ЖИЗНЬ** при всей своей вопиющей банальности пролился бальзамом — неким, стало быть, банальзамом — на душу кое-кому из тех, кто по природной душевной склонности, либо обкушавшись плодов просвещения, ставит превыше всего незыблемость более или менее прагматичного оптимизма, даже если имеются веские основания подозревать, что дело идет о чистойшей и к тому же мимолетной мнимости. Живя, вплоть до вдруг нагрянувших дней смятения, в мире, который они считали лучшим из всех возможных и вероятных, люди эти к безмерной

своей отраде обнаружили, что теперь у них на глазах происходит кое-что совсем уж замечательное, что уже на самом пороге стоит невероятная, расчудесная жизнь, где не будет каждодневного страха перед лязгом пресловутых ножниц парки, где никому не вручат письмо, вскрыв которое в урочный час, узнаешь, куда надлежит тебе с получением сего отправляться — в рай, в чистилище или в ад, — где сгинет тот перекресток, на котором еще так недавно расходились в разные стороны наша жизнь в сей слезной юдоли и сужденный нам, дорогие товарищи, загробный удел. И потому ничего не оставалось скептически или хотя бы сдержанно настроенным изданиям, а вкупе с ними — телевизионным и радиопрограммам, как броситься в эти прибойные волны всеобщего ликования, захлестывавшие страну с севера на юг и с запада на восток, охлаждавшие воспаленные мозги маловеров и уносившие прочь, с глаз долой, тень кладбищенского кипариса, которая, как известно, далеко падает. По прошествии известного срока и по обнаружении того, что и в самом деле никто не умирает, пессимисты и скептики — сначала поодиночке, потом малыми ручейками, а потом и целыми реками — стали втекать в разливанное море своих сограждан, которые использовали малейшую возможность выйти на улицу и криком прокричать, что вот теперь наконец жизнь и вправду прекрасна.

А потом одна недавно овдовевшая дама, не сыскав иного способа выразить переполнявшее ее счастье — и дай бог, если к нему примешивалась легчайшая печаль от сознания того, что раз она не умрет, то никогда больше не увидит многожды оплаканного му-

жа, — подумала: а не вывесить ли ей на своем украшенном цветами балконе государственный флаг. Это был тот самый случай, когда сказано — сделано. Не прошло и сорока восьми часов, как флаги запестрели по всей стране, заполонили весь пейзаж, причем в городе оказались заметнее по той очевидной причине, что висеть в окне или на балконе — не то что в чистом поле. Противостоять общему патриотическому подъему было решительно невозможно еще и потому, что откуда ни возмись, то есть из неведомого источника, стали распространяться пламенные, чтобы не сказать — откровенно угрожающие, — заявления вроде такого, например: Кто не вывесит бессмертный стяг нашей отчизны у себя в окне, не заслуживает того, чтобы оставаться в живых. С флагами по улицам не шатались только те, кто раньше и почти насильно успел всучить их бесфлажным согражданам со словами: Присоединяйся к нам, будь патриотом, купи флаг. Купи еще один. И третий тоже. Бей врагов жизни, жалко, что нельзя до смерти. Улицы превратились в настоящий рыцарский стан: повсюду виднелись развернутые знамена, развевавшиеся на ветру, при наличии, конечно, ветра, а при отсутствии его шел в ход электрический вентилятор, и если мощи его не хватало для того, чтобы полотнище, обретя мужественную упругость, вилось и струилось в воздухе, щелканьем своим вселяя ликование в воинственные души, то по крайней мере обеспечить достойное колыхание сей прибор мог. Находились, конечно, хоть и в небольшом числе, такие, кто втихомолку твердил, что, мол, это чересчур, что это перебор, что весь этот лес флагов когда-нибудь все равно придется убрать, а потому чем

раньше это сделать, тем лучше будет, ибо как переслащенный пирог нехорош на вкус и вреден для желудка, точно так же и символы государственности станут посмешищем, если мы допустим, чтобы нормальное, более чем законное уважение к ним скатилось до такого вот явного непотребства, которое схоже с действиями эксгибициониста, распахивающего свой недоброй памяти плащ. И потом, говорили они, если знамена вывешены, извините за тавтологию, в ознаменование столь знаменательного события — смерть перестала собирать свою жатву, — то, значит, одно из двух: либо мы их уберем, не дожидаясь отрыжки, неизбежной при столь неумеренном потреблении национальной символики, либо до конца дней своих, читай — до бесконечности, да-да, вот именно: до бесконечности, до скончания века, которое не настанет никогда, — будем менять их всякий раз, как они вылиняют на солнце, сгниют от дождей или порвутся под ветром. Немного, очень немного нашлось тех, кто осмеливался так вот, на людях, влагать персты в рану, а одному бедолаге вломили за его антипатриотическое злопахательство столь крепко, что он и выжил-то лишь потому, что с начала года смерть приостановила в этой стране свою деятельность.

Но жизнь — она так уж устроена, что рядом с теми, кто смеется, всегда отыщутся те, кто плачет, причем, как будет явствовать из нижеследующего, причина для смеха и слез — одна и та же. Кое-какие весьма влиятельные профессиональные сообщества, всерьез обеспокоившись развитием ситуации, стали мало-помалу высказывать свое недовольство. Как и следовало ожидать, первыми облекли его в юридическую

форму похоронные бюро. Грубо отторгнутые от сырьевых ресурсов, капитаны этой индустрии поначалу на классический манер заломили руки и взвыли хором плакальщиц: Ах, да на кого ж ты меня покинула, однако вслед за тем, осознав, что от неминуемого краха не спасется ни один из представителей их сословия, созвали съезд, итогом работы которого после споров жарких и ожесточенных, но совершенно бесплодных, ибо все попытки выправить положение отрасли без участия смерти, каковое участие многие поколения гробовщиков и могильщиков привыкли воспринимать просто как дар природы, можно было смело уподобить стремлению прошибить головою каменную стену, да, так вот, значит, съезд, итогом которого стало обращение к правительству, содержавшее единственное предложение, столь же плодо-, сколь и смехотворное, о чем честно предупредил председательствующий: Над нами потешаться будут, но иного выхода нет, либо это, либо гибель всего нашего похоронного дела. Мы, делегаты чрезвычайного съезда, говорилось в обращении, созданного для рассмотрения средств борьбы с тяжелейшим кризисом, постигшим отрасль в связи с повсеместным прекращением смертей, после всестороннего и тщательного анализа ситуации и ни на миг не забывая о высших интересах народа, пришли к единодушному выводу: избежать катастрофических последствий обрушившегося на нас бедствия, страшнее которого не переживала наша отчизна за все время своего существования, возможно лишь в том случае, если правительство специальным постановлением предпишет обязательное захоронение или кремацию всех домашних животных, погибших как от

естественных причин, так и в результате несчастного случая, возложив регламентированное должным образом исполнение вышеуказанных мероприятий на похоронные бюро и агентства, сотрудники коих, из поколения в поколение совершенствуя свое мастерство, зарекомендовали себя истинными радетелями народного блага и явили высокие примеры самоотверженного служения обществу на ниве ритуальных услуг в самом глубоком и полном значении этого понятия. Далее в письме говорилось: Обращаем внимание правительства на то обстоятельство, что безотлагательное возрождение и неотъемлемая от него перероентация отрасли неизбежно потребуют значительных капиталовложений, ибо одно дело — проводить к месту последнего упокоения человеческую особь, и совсем другое — предать земле прах кота или канарейки, не говоря уж о слоне из цирка или крокодиле из зверинца, то есть должен быть предусмотрен коренной и всесторонний пересмотр нашего традиционного *ноу-хау*, в чем поистине неоценимую помощь окажет нам уже накопленный опыт, который ныне будет распространен на устройство кладбищ для животных и захоронение последних, или, иными словами, превращение побочной, хотя и, не станем отрицать, высокодоходной формы деятельности в единственную и исключительную, благодаря чему возможно будет избежать увольнения сотен, если не тысяч тех самоотверженных и ревностных работников, которые, на протяжении стольких лет ежедневно и бестрепетно видя перед собой ужасающий лик смерти, ни в малейшей степени не заслужили того, чтобы ныне она поворачивалась к ним спиной. В заключе-

ние, господин премьер-министр, во имя жизненно необходимой защиты профессии, тысячелетиями доказывавшей свою нужность и полезность обществу, мы убедительно просим не только как можно скорее принять по нашему ходатайству благоприятное решение, но и в кратчайшие сроки открыть для восстановления элементарной справедливости кредитную линию и предоставить нам беспроцентный долговременный заем, который, несомненно, будет содействовать скорейшему оживлению того сектора экономики, чье существование впервые подвергается угрозе, какой не знавала не только история, но, вероятно, даже эпохи, называемые доисторическими, ибо нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах не может и не должен окончивший свой земной путь представитель рода человеческого лишиться того, кто рано или поздно предаст его тело земле, если только сама земля не разверзнется, великодушно предоставляя покойному последний приют в своем лоне. С уважением, дата, подпись.

Вслед за тем и администрация больниц, госпиталей и клиник, как частных, так и государственных, без промедления принялась стучаться в двери министерств здравоохранения и социальной опеки, дабы высказать их руководителям свои опасения, которые, как ни странно, лежали в сфере логистики, а не чистой медицины. Было заявлено, что в постоянно движущейся цепочке, звеньями коей являются больные и два разряда переставших быть таковыми: одни выздоровели и выписались, другие перешли в разряд покойников, случилось, с позволения сказать, нечто вроде короткого замыкания, а если не употреблять термины

электротехники, то — пробка: не та, что перегорает, а та, что на дорогах: короче говоря, постоянно увеличивалось число пациентов, которым по тяжести заболевания или травм, полученных в результате какого-нибудь несчастного случая, в обычных обстоятельствах давно уже полагалось бы переселиться в лучший мир. Положение серьезное, твердило больничное начальство, мы уже размещаем пациентов в коридорах, и все указывает на то, что в ближайшее время столкнемся с нехваткой уже не только кроватей, но и помещений, ибо все они, включая комнаты для персонала, будут заполнены. И заявляло, что поскольку имеющийся способ решить эту проблему задевает, пусть и по касательной, клятву Гиппократа, решение это, буде принято, должно быть не медицинским и не административным, но политическим. Умный понимает с полуслова, и министр здравоохранения, посоветовавшись с главой правительства, издал следующее распоряжение: Учитывая непрекращающийся наплыв больных в стационары, грозящий значительно осложнить бесперебойное функционирование всей лечебной системы и являющийся прямым следствием резкого увеличения количества пациентов, которые находятся при смерти и будут пребывать в этом состоянии неопределенно долгое время, причем — без надежды на улучшение или хотя бы положительную динамику до тех, по крайней мере, пор, пока стремительно развивающаяся медицинская наука не предложит новые лекарственные средства и лечебные методы, — правительство рекомендует администрациям больниц после тщательного и всестороннего осмотра каждого пациента, осмотра, долженствующего под-

твердить необратимость процессов, ведущих к летальному исходу, передавать таких больных на попечение родственников, но при этом обязывает, тем не менее, руководителей медицинских учреждений обеспечивать проведение всех клинических исследований и лечебных мероприятий, которые домашние/семейные врачи признают необходимыми или хотя бы желательными. Настоящее решение основывается на весьма убедительном предположении о том, что пациенту, постоянно находящемуся при смерти, постоянно отодвигающейся, должно быть чуть менее чем безразлично — даже в редкие моменты просветления, — где именно он пребывает: в переполненной ли больничной палате или в лоне семьи, поскольку ни там, ни здесь он не сможет ни умереть, ни выздороветь. Пользуясь случаем, правительство доводит до сведения граждан, что полным ходом проводятся исследования, призванные установить остающиеся до сей поры невыясненными причины внезапного исчезновения смерти. Сообщаем также о том, что недавно образованной экспертной комиссии, в состав которой вошли священнослужители различных конфессий и представители различных философских направлений — этим всегда есть что сказать по данному поводу, — поручено разобраться в столь тонкой и щепетильной проблеме, как бессмертие, и одновременно выработать хотя бы примерный перечень ожидающих наше общество проблем, первая и главная из которых формулируется таким жестоким вопросом: Что нам делать со стариками, если больше не приходится рассчитывать на то, что смерть, как бывало прежде, урежет избыток их капризов и чудачеств.

Администрация домов призрения, сих благотельных заведений, созданных во имя спокойствия домочадцев, не имеющих ни времени, ни должного терпения ухаживать за теми, кто если и ходит, то — только под себя, вытирать им сопли и слюни, бороться с последствиями недержания, проистекающего — и ох как еще проистекающего — от изношенности сфинктера, и вставать по ночам с постели на слабый зов предков, не замедлила устремиться по пути, предложенному похоронными бюро и больницами, и тоже принялась биться головой о стену. Справедливости ради признаём, что стоявший перед ними выбор — принимать или не принимать новых постояльцев — по нестерпимой своей мучительности поистине не знал себе равных. Прежде всего потому, что результат — а не он ли, спросим, определяет решение подобных дилемм — в любом случае был бы один и тот же. Привыкнув, подобно своим товарищам по несчастью — мастерам внутривенных вливаний и плетельщикам венков с траурными лиловыми лентами — к тому, что чередование жизни и смерти происходит безостановочно и споро, руководители интернатов и домов престарелых даже и помыслить боялись о том времени, когда лица и тела их подопечных если и будут меняться, то для того лишь, чтобы все сильнее проявлять черты упадка и распада, густеющую день ото дня сетку морщин, обращающих лицо в подобие печеного яблока, дрожь в руках и слабость в коленках, шаткость походки, неверную зыбкость движений, уподобляющих человека утлому челноку в бурном море. Попадая в сей приют безмятежного заката — таково было официальное название богадельни, —

каждый новый питомец неизменно делался для зрителей предметом радостных хлопот, поскольку следовало запомнить его имя, накрепко затвердить его, из внешнего мира принесенные, обыкновения, чудачества и странности, присущие ему одному: некий отставной чиновник целыми днями отчищал свою зубную щетку от остатков зубной пасты, а некая старушка ночи напролет рисовала генеалогическое древо своей семьи и все никак не могла уместить в клеточках именина, долженствовавшие свисать с его ветвей. На несколько недель, покуда силою привычки не уравнивался новичок во внимании и заботе со всеми остальными, он становился общим баловнем и любимчиком — последний раз в жизни, а она с недавних пор, неизвестно зачем и почему, длится вечность, которую можно сравнить с солнцем, осеняющим благодатью своих лучей каждого жителя этой новой аркадии — сравнить-то можно, но лучше не надо, ибо мы своими глазами видим, как меркнет дневное светило, и при том остаемся живы. Теперь все изменилось: теперь участь каждого нового постояльца известна заранее, и он не покинет интернат, чтобы помереть дома или в больнице, как случалось в доброе старое время, когда прочие обитатели торопливо запирались в своих комнатах, чтобы смерть ненароком не прихватила с собою их тоже; теперь нам известно, что это все осталось в безвозвратном прошлом, но ведь должны же власти подумать о нас, о владельцах, о заведующих и о сотрудниках домов призрения, позаботиться о нашей судьбе, а она плачевна: нас-то кто приютит, когда придет час опустить руки, и, заметьте, мы ни в малейшей степени не распоряжаемся тем, к чему все же

имеем кое-какое отношение, по крайней мере, оно на протяжении многих-многих лет давало нам работу — читатель уже, наверно, понял, что тут вступил хор служащих — а иными словами, нам не будет места в наших приютах безмятежного заката, если только не выставим оттуда скольких-то клиентов, и эта мысль уже приходила в голову правительству, когда дебатировался вопрос о пробках в больницах: Пусть вспомнит о своих обязательствах семья, сказала тогда правительство, но ведь для этого надо, чтобы у кого-то в семье оставалась хоть капля разума в голове, а во всем прочем теле — хоть немного энергии, меж тем всем известно по собственному опыту и из наблюдений за миром, что срок годности тому и другому истекает со скоростью вздоха, если сравнить его, вздох то есть, с вечностью, недавно у нас установившейся, спасение же, господа, в том, чтобы умножать количество домов для престарелых, да не так, как было до сих пор, когда под них отводились дома и особняки, знававшие лучшие времена, нет, придется строить с нуля огромные здания в форме, например, пятиугольника-пентагона или вавилонской башни, или кносского лабиринта: сначала здания, потом кварталы, потом города или, называя вещи своими именами, исполинские кладбища для живых, чья роковая и необратимая дряхлость попадет под должный присмотр, заповеданный богом, на срок, ему же одному ведомый, то есть до конца дней своих, каковой конец отодвигается на неопределенное время, что порождает двойную проблему, требующую внимания должностных лиц и состоящую в том, что увеличение числа все более и более древних старцев и старух приведет к росту численнос-

ти тех, кто должен будет за ними ухаживать, а он, в свою очередь, к тому, что соотношение возрастов в обществе, которое схематически можно представить фигурой ромбоида, изменит свои очертания, и чудовищное, непрерывно возрастающее количество стариков будет заглатывать, как питон, новые поколения, а те, превратившись в большинстве своем в сиделок и санитаров, потратив бóльшую и лучшую часть своей жизни на заботу о стариках разного возраста — от почтенного до мафусаилова — на уход за уходящими в бесконечность рядами отцов, дедов, прадедов, прапрадедов и иных, еще более отдаленных предков и пращуров, подобных листьям, которые слетают с ветвей и слой за слоем ложатся в кучу опавших прошлой, и позапрошлой, и позапозапрошлой осенью — *où sont les neiges d'antan*¹, спросим мы вослед за поэтом — сами начнут строиться в легионы, в муравьиные полчища подслеповатого и тугоухого народца, что идет по жизни, постепенно теряя зубы и волосы, страдая катаром и маясь грыжей, или никуда уже не идет, а лежит с переломом шейки бедра или в параличе, не способный хотя бы подобрать текущие по подбородку слюни, и, поверьте, ваши превосходства, господа министры, свалившаяся на нас напасть и в самом кошмарном сне не могла присниться, не видано было ничего подобного даже в те времена, когда человек обитал в непреходящем ужасе пещерной тьмы и, уверяем вас во всеоружии опыта, обретенного нами при организации первого приюта безмятежного заката, все прочее — это пустяки и детские игрушки, но

¹ «Но где же прошлогодний снег?» (фр.) — строчка из «Баллады о дамах былых времен» Франсуа Вийона (перевод Н. Гумилева).

ведь для чего-то же даровано нам воображение, и позвольте нам высказаться напрямик, господин премьер-министр, и заявить, положив руку на сердце: лучше смерть, лучше смерть, чем такое.

Смертельная опасность нависла над всей нашей отраслью, заявил журналистам президент федерации страховых обществ, имея в виду многие тысячи будто под копирку написанных писем, требовавших немедленно расторгнуть договоры страхования жизни. Во всех и в каждом сообщалось, что, поскольку смерть, как стало широко известно, прекратила свое существование, было бы полнейшей нелепостью, чтобы не сказать сильней, по-прежнему платить взносы, которые ныне служат только и исключительно обогащению и без того богатых компаний. Не желаю кормить ослов пирожными, восклицал в постскриптуме один из особенно разозленных клиентов. Другие шли еще дальше и требовали возврата уже внесенных сумм, но это делалось лишь для очистки совести, на всякий случай, который вдруг возьмет да и окажется счастливым. На неизбежный вопрос журналистов о том, что же намерены делать страховые общества, внезапно накрытые залповым огнем тяжелой артиллерии, президент федерации отвечал, что хотя юрисконсульты в настоящее время изучают типовые полисы, желая найти самую малейшую возможность, оставаясь, разумеется, в рамках закона, так истолковать какой-либо пункт, печатаемый обычно мелким шрифтом, чтобы клиенты, пусть и против своей воли, продолжали платить пожизненно, то есть вечно, однако скорей всего им предложат некое джентльменское соглашение, разумный компромисс, заключающийся в том, что к тек-

сту договора будет добавлено краткое приложение, которое определит 80 лет возрастом обязательной смерти, что следует понимать в фигуральном смысле, поспешил он добавить со снисходительной улыбкой. Таким образом платежи будут, как и прежде, взиматься вплоть до того дня, когда счастливчик-застрахованный, отпраздновав свое восьмидесятилетие и сделавшись умопостигаемым покойником, получит право потребовать страховую премию, каковая и будет выплачена ему в полном объеме. Следует добавить, что по желанию клиентов договор может быть продлен еще на восемьдесят лет, по истечении коих будет зарегистрирована очередная виртуальная, как принято ныне выражаться, кончина, и процедура выплаты повторена, а затем еще, еще и еще раз. В этом месте слышались восхищенные возгласы журналистов, и в ответ на прошумевший по залу легкий рукоплекс признательный президент наклонил голову. Тактический расчет оказался на уровне стратегического замысла, ибо в тот же день в страховые компании посыпались новые письма, объявлявшие прежние не имеющими силы. Все клиенты поспешили заключить джентльменские соглашения со страховщиками, и это был один из тех редчайших случаев, когда и волки сыты, и овцы целы, и все довольны — в особенности страховые компании, на волосок разминувшиеся с летевшей им прямо в лоб катастрофой. Не вызывало сомнений, что президент федерации в итоге ближайших же выборов вновь займет должность, которую исполнял столь блистательно.

О ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ СМЕШАННОЙ КОМИССИИ можно сказать все, кроме того, что оно прошло успешно. Ответственность, если уместно здесь это тяжеловесное слово, лежит на драматическом меморандуме, направленном в правительство администрацией дома призрения и кончавшемся столь угрожающей фразой: Лучше смерть, господин премьер-министр, лучше смерть, чем такое. Когда философы, разделившиеся по обыкновению на хмурых пессимистов и смешливых оптимистов, в тысячный раз хотели было развернуть малость подвядшую дискуссию о стакане то ли наполовину полным, то ли наполовину пустом, каковая дискуссия применительно к предмету, который свел их вместе, свелась бы к простому перечислению достоинств и недостатков, преимуществ и неудобств вечной жизни в сопоставлении со смертью, представители различных религиозных течений, выступив единым фронтом, попытались направить дискуссию эту по иному и единственно интересовавшему их руслу — а именно доказать, что смерть есть неременная основа царства божьего и что, стало быть, любой спор о будущем без смерти станет не столько святотатственным, сколько абсурдным, поскольку в качестве не-

избежной предпосылки предусматривает отсутствие, если не исчезновение, бога. Ничего нового: кардинал уже указал, где собака зарыта, уже ткнул пальцем в эту теологическую разновидность квадратуры круга, когда в беседе с премьер-министром сообщил ему, пусть и не в столь ясных выражениях, что без смерти не будет и воскресения, а без воскресения теряет всякий смысл существование церкви. Если нет смерти, того единственного орудия, которое господь вверил людям, чтобы пролагали пути, ведущие в его царство, то следует сделать один непреложный и неопровержимый вывод: вся священная история неизбежно заходит в тупик. Этот аргумент прозвучал из уст старейшего из философов-пессимистов, который, однако, тут не остановился, а пошел дальше, произнеся целую речь: Все религии, сколько ни будь их на свете и как бы мы их ни крутили, оправдывают свое существование одним — смертью, ибо нуждаются в ней не менее, чем в хлебе насущном. Представители религий возражать не стали. Напротив, один из них, входивший в католический сектор, сказал: Вы совершенно правы, мы для того только и существуем, чтобы люди всю свою жизнь влачили, как жернов на шее, тяжкое бремя страха, а в смертный час воспринимали свою кончину как освобождение. И надеялись попасть в рай. В рай или в ад или вообще в никуда, и должен заметить, что происходящее после смерти заботит нас значительно меньше, нежели принято считать: религия, господин философ, занимается земными делами, а к небесам отношения не имеет. Не приходилось слышать такого. Ну, надо же говорить что-то, чтобы сбывать наш товар. Иными словами, вы не верите в за-

гробную жизнь. Мы принимаем ее в расчет. Старейший из философов дождался, когда по лицу его расплывется неопределенная улыбка, с какой встречают обычно трудный, но успешно завершившийся лабораторный опыт. Но если так, вмешался философ оптимистического крыла, почему вас столь сильно пугает исчезновение смерти. А кто сказал, что она исчезла, она просто перестала убивать, это разные вещи. Согласен, но покуда это сомнение не разрешено, вопрос свой не снимаю. Потому что, если бы люди не умирали, все стало бы дозволено. А это плохо, осведомился старый философ. Когда все дозволено, это так же плохо, как когда не дозволено ничего. В этом месте все помолчали. Восьмерым мужчинам, сидевшим вокруг стола, было поручено поразмышлять о том, что сулит человечеству грядущее без смерти, и на основании имеющихся данных сделать отдаленный прогноз относительно тех новых проблем, с которыми столкнется человечество; излишне говорить, что неизбежно обострятся и все старые проблемы. А лучше вообще ничего не предпринимать, молвил философ-оптимист, грядущие проблемы пусть грядущее и решает. Беда в том, отвечал пессимист, что они, хоть и грядущие, да уже нагрянули, у нас здесь, помимо прочего, обращения в правительство, поданные богадельнями, больницами, похоронными бюро, страховыми агентствами, и, если не считать последних, которые всегда отыщут способ извлечь выгоду из любой ситуации, следует признать, что перспективы — не просто мрачные, а катастрофические, ужасающие, превосходящие игру самого разнузданного воображения. Не считите мои слова за иронию, в данных обстоятельст-

вах свидетельствующую о дурном вкусе, высказался представитель протестантов, но комиссию нашу следует счесть мертворожденной. Администрация приюта безмятежного заката права, проговорил католик, лучше смерть, чем такое. Есть ли иные предложения, кроме немедленного роспуска нашей комиссии, что, похоже, является вашим заветным желанием, осведомился философ-пессимист. Мы, представители римской католической апостольской церкви, развернем общенациональную кампанию и призовем верующих молиться о том, чтобы господь в кратчайшие сроки явил милость и вернул смерть, дабы несчастное человечество избежало еще горших бед. А господь наделен властью над смертью, спросил кто-то из оптимистов. Да это же две стороны одной монеты: орел и решка. Но если так, то, может быть, смерть и удалась по божьей воле. В свое время нам станет ясен смысл этого искусства, а пока возьмемся за четки. Мы тоже начнем молиться, хоть, разумеется, и без четок, улыбнулся протестант. А еще мы выведем на улицы шествия верующих, наподобие тех, что ходят *ad petendam pluviam*, с молитвой о ниспослании дождя, перевел католик. Ну, до такого мы не доходили, снова улыбнулся протестант, всеми этими шествиями и процессиями мы не увлекались никогда. Но что же, спросил философ-оптимист тоном, свидетельствующим, что он в самое ближайшее время намерен переметнуться в стан противника, что же нам делать теперь, когда едва ли не все двери перед нами захлопнулись. Для начала продолжать заседание, отозвался его престарелый коллега-пессимист. А потом. А потом продолжать философствовать, раз уж мы для этого родились на

свет. А зачем. А зачем, не знаю. Тогда почему. Потому, что философия не меньше религии нуждается в смерти, мы и философствуем-то, зная, что умрем, и недаром же мосье де монтьен¹ обмолвился как-то, что философствовать — значит учиться умирать.

Но даже кое-кто из тех, кто не был философом — по крайней мере, в обычном смысле слова, — сумел найти дорогу к смерти. И, как ни странно, не для того, чтобы научиться умирать самому, ибо время еще не пришло, но — чтобы обмануть смерть и помочь ей унести других. В самом скором времени подтвердилось, что род людской поистине неистощим на выдумки. В какой-то деревушке, расположенной в нескольких километрах от границы, жила-была крестьянская семья, в которой, как видно, за грехи ее имелся не один, а двое домочадцев, пребывавших при смерти или, как стало принято говорить, — в состоянии отложенной смерти. Один из них был дед — человек старого закала, в былые и недавние времена — непреклонный патриарх, которого теперь болезнь превратила в полное ничтожество, в рухлядь и ветошь, не лишив лишь дара речи. Другой — ребенок нескольких месяцев от роду, еще не знавший даже слов «жизнь» и «смерть» и настоящей смертью лишенный возможности слова эти выучить. Оба в буквальном смысле были ни живы, ни мертвы, и сельский врач, навещавший их раз в неделю, говорил, что уже нельзя им ни помочь, ни навредить, ни даже вколоть поочередно до-

¹ Мишель де Монтень (1533—1592) — французский писатель, политический деятель, философ. Это высказывание, содержащееся в первом томе его «Опытов», он приводит, ссылаясь на Цицерона, который в свою очередь заимствовал его у Платона.

брую дозу того смертельного снадобья, которое еще не так давно помогало радикальному решению подобных проблем. И то единственное, что было лекарю по силам, — попытаться подтащить их, так сказать, на шагок ближе к тому месту, где предположительно находилась смерть, — также оказалось бы зряшной затеей, пустыми хлопотами, ибо в тот же самый миг смерть, оставаясь недосыгаемой, сделала бы шаг назад и тем самым сохранила бы дистанцию. Семейство обратилось к священнику, тот выслушал, возвел очи горé и не нашел ничего лучшего, как сообщить, что все мы в руке божьей и что милосердие божье безгранично. Ну да, безгранично, однако недостаточно, чтобы помочь нашему отцу и деду почить с миром, а невинного младенца, никому не причинившего зла в этом мире, — спасти. В этом вот межеумочном состоянии — ни туда, ни сюда — пребывали они без средств к спасению и без надежды на него, как вдруг старик сказал: Подойдите кто-нибудь. Пить хотите, спросила замужня дочка. Не пить, а умереть. Сами ведь знаете, что́ доктор сказал — это невозможно, смерти больше нет. Ничего не смыслит ваш доктор, с тех пор, как мир стал миром, всегда отыщется в нем время и место умереть. А сейчас нет. Нет, а да. Папа, не волнуйтесь, а то жар начнется. Нет у меня жара, а и был бы, ничего бы не изменилось, слушай меня внимательно. Слушаю. Ближе подойди, боюсь, голос мне изменит. Говорите. И старик прошептал ей на ухо несколько слов. Она замотала головой, но он настаивал. Это ничего не решит, пролепетала ошеломленная и побледневшая от страха дочь. Решит. А если нет. Попытка не пытка. Но если все же нет. То-

гда вернете меня сюда. А мальчик. А мальчика возьму с собой: если я там останусь, то и он со мной. Дочь задумалась, на лице ее отразилось смятение, и наконец спросила: А почему же не здесь. Представь, что будет, когда появятся двое покойников в краю, где никто, как ни старается, помереть не может, как ты все это объяснишь, да и потом, судя по тому, как идут дела, сомневаюсь я, что смерть позволит нам вернуться. Это безумие, отец. Может, и безумие, но иного выхода я не вижу. Мы хотим, чтобы вы жили. Жил, да не такой жизнью, как сейчас, когда я не то мертвец, похожий на живого, не то живой, подобный мертвецу. Если и вправду такова ваша воля, мы исполним ее. Поцелуй меня. Дочь прикоснулась губами к его лбу, заплакала и вышла. И, слезами заливаясь, сказала прочей родне, что отец велел сегодня же ночью вывезти себя за пограничную черту, где, по его представлениям, смерть пока не утратила своей силы, а им всем остается лишь выполнить его волю. Новость эта встречена была со смешанными чувствами гордости и смирения: гордости — потому что не каждый день бывает, чтобы старец своими, так сказать, ногами двинулся к смерти, которая от него убегает, а смирения — потому что все равно пропадать. Поскольку давно уже сказано, что все иметь нельзя, то отважный старик оставит после себя только свое бедное и честное семейство, которое, без сомнения, будет чтить его память. Состояло же оно не только из дочки, что вышла в слезах, и не только из младенца, который никому не успел причинить зла, — имелись еще вторая дочка с мужем и тремя детишками, крепкого, к счастью, здоровья, и их тетка, незамужняя и давно упустившая

время, когда можно было выйти замуж. Второй зять, то есть супруг той дочери, что вышла в слезах, живет в далекой стране, куда уехал на заработки, и завтра он узнает, что лишился и единственного сына, и тестя, которого уважал. Так уж устроена жизнь: одной рукой даст, а потом, в свой час — другой рукой все отнимет. Впрочем, родственные узы каких-то крестьян не слишком важны для нашего рассказа, и, вероятней всего, они в нем больше не появятся, нам-то это известно лучше, чем кому бы то ни было, однако считаем, что неправильно, даже с точки зрения повествовательной техники, ограничить двумя скупыми и быстрыми строчками рассказ о тех людях, которым суждено стать главными героями одного из самых драматических эпизодов этой истории — неправдоподобной, но правдивой. Так что пускай побудут. Да, забыл сказать, что незамужняя тетка успела выразить сомнение: А что соседи скажут, спросила она, когда увидят, что здесь больше нет тех, кто был при смерти да все никак не умирал. Вообще-то незамужней тетке не свойственно было выражаться так замысловато, а если сейчас выразилась, то лишь для того, чтобы не расплакаться навзрыд, произнеся имя мальчика, который никому еще не успел причинить зла, и словосочетание «моего отца». Ответил ей отец троих детишек: Скажем просто о том, что произошло, и будем ждать последствий, а нас, без сомнения, обвинят, что мы схоронили их тайно, не на кладбище и не уведомив власти, да еще и в другой стране. Дай бог, чтоб войны из-за этого не случилось, отвечала тетка.

Незадолго до полуночи вышли они по направлению к границе. И деревня, будто подозревая, что вос-

последуют некие странные события, угомонилась позже обычного. Но вот затихли улицы, одно за другим погасли окна в домах. Запрягли мула, а потом с большим трудом, хоть старик почти ничего и не весил, вынесли его и погрузили на телегу, а когда чуть слышным голосом он спросил, не забыли ли лопату и кирку, успокоили, сказав: Ни о чем не тревожьтесь, отец, и потом мать вынула из колыбели ребенка, прижала к груди, шепнула: Прощай, сыночек, больше мы с тобой не увидимся, что было неправдой, ибо она с сестрой и сестринным мужем, то есть зятем, тоже собиралась ехать: трое для предстоявшего им дела — вовсе не много. Незамужняя же тетка не захотела проститься с теми, кто покидал дом навсегда, и заперлась в комнате с малолетними своими племянниками. Опасаясь, что железные ободья, загромыхав по неровно вымощенной деревенской улице, заставят любопытных односельчан прильнуть к окнам, чтобы узнать, куда это собрались их соседи в такую глухую пору, семейство дало кругалю и выбралось на тракт уже за околицей. Пограничный рубеж был недалеко, но дорога к нему не вела, и потому через небольшое время пришлось опять своротить на довольно узкую тропу, по которой телега проходила с трудом, не говоря уж о том, что последний отрезок пути предстояло проделать пешком, а как старика тащить, одному богу известно. По счастью, зять хорошо знал здешние леса, поскольку исходил их все с охотничьим ружьишком, а кроме того, немного баловался контрабандой. Часа два добирались до того места, где должны они были оставить телегу, а как добрались, осенила зятя идея посадить старика верхом и уповать на крепость муловых поджилок. Вы-

прягли, освободили от всякой добавочной сбруи и с неимоверными усилиями стали взволакивать отца мулу на спину. Женщины плакали и причитали, и со слезами вместе выходили из них последние силы, а их и так было немного. Бедный старик пребывал в полуобмороке, словно бы уж переступив первый порог смерти. Не выходит, с досадой вскричал зять, но тут его осенило: он сядет первым, а потом втащит тестя и посадит его перед собой: Обхвачу его, буду держать. Молодая мать меж тем подошла к телеге подоткнуть одеяльце, которым укрыт был младенец, чтоб, не дай бог, не просквозило, а потом вернулась и стала помогать сестре. Ничего, однако, не получалось, как ни старались: старик был точно свинцом налит, только и смогли, что чуточку приподнять его с земли. И тут случилось нечто невиданное и сверхъестественное: а проще говоря — чудо. Словно бы сила земного тяготения на миг перестала действовать, или вектор ее, сменившись, направился снизу вверх, но тело старика вдруг мягко высвободилось из рук дочерей и, само собой поднявшись в воздух, опустилось на подставленные руки зятя. А небо, с самого вечера заволоченное грузными низкими тучами, грозившими пролиться дождем, вдруг прояснилось, и выглянула луна. Можем трогаться, сказал зять, обращаясь к жене, ты поведешь мула. Мать ребенка отвела чуть в сторону угол одеяльца поглядеть на своего мальчика. Закрытые глаза казались двумя бледными пятнышками, черты лица расплывались. Она вскрикнула так, что огласилась вся округа и вздрогнули в своих норах лесные звери: Нет, не могу, не понесу его на ту сторону, чтоб собственными своими руками предать смерти, везите

отца, я здесь останусь. Сестра подошла к ней, сказала: Хочешь год за годом смотреть, как он мучается. Твои трое здоровы, тебе легко говорить. Твой сын — все равно что мой. Если так, ты его и неси, а я не могу. Ты не можешь, а я не должна, это равносильно убийству. Какая разница, кто понесет. Предать смерти и убить — не одно и то же, по крайней мере, в таких обстоятельствах, ты его мать, а не я. Разве ты смогла бы отнести одного из своих или всех разом. Смогла бы, наверно, но ручаться не стану. Стало быть, я права. Если так, жди нас здесь, мы отвезем деда. И, отойдя, взяла мула под уздцы, сказала мужу: Пошли. Пошли, отозвался тот, только шагом, неровен час, свалится. Блестала на небе полная луна. Где-то впереди проходил пограничный рубеж — линия, которая видна только на карте. Как мы узнаем, спросила жена. Отец даст нам знать, был ответ. Она поняла и больше уже ни о чем не спрашивала. Прошли дальше, еще сто метров, еще десять шагов, и вдруг муж сказал: Пришли. Кончился. Да. И чей-то голос позади повторил: Кончился. Мать в последний раз положила мертвого ребенка на сгиб левой руки, а правой вскинула на плечо позабытые зятем и сестрой лопату и кирку. Еще немного пройдем, вон до той прогалины, сказал зять. В отдалении, на склоне, светились огнями деревня. По тому, как ступал мул, понятно было, что почва стала мягкой, копать будет легко. Вот это место мне нравится, произнес наконец зять, и дерево приметное, легко будет найти, когда принесем сюда цветочков. Мать выпустила из руки лопату с киркой и плавно опустила сына наземь. Потом обе сестры с крайней осторожностью подхватили

тело и, не дожидаясь помощи уже слезавшего с мула мужчины, положили старика рядом с младенцем. Мать рыдала и повторяла однотонно: Отец мой, сын мой, и плачущая сестра обняла ее, сказала: Так лучше, так лучше, поверь, это ведь была не жизнь. Обе стали на колени, оплакивая мертвых, сумевших обмануть смерть. Зять, вооружась лопатой, уже рыл яму, выбрасывал из нее землю и вновь принимался копать, и чем дальше, тем тверже, плотней, каменистой становилась почва, так что лишь через полчаса усердной работы получилась могила нужной глубины. Не было ни гробов, ни саванов, тела уйдут в землю в чем были при жизни. Объединив усилия, мужчина и две женщины — он спрыгнул вниз, они зашли с обеих сторон — начали медленно спускать в могилу тело старика: дочери держали его за раскинутые, словно на перекладине креста, руки, зять принял, и вот тело легло на дно прямоугольной ямы. Женщины плакали не переставая, у зятя глаза были сухие, но трясло его и колотило, как в лихорадке. Худшее было еще впереди. Под слезы и стоны опустили в могилу и младенчика, примостили сперва под боком у деда, но вышло неладно: маленькое немощное тельце, ненужная и неважная жизнь, лежало как-то отъединенно, наособицу, будто ничье. Тогда мужчина нагнулся, поднял ребенка, положил его лицом вниз на грудь старику, а руки его скрестил на крошечной спинке, и вот теперь получилось хорошо, и оба готовы были в уюте встретить вечный покой, и теперь можем забрасывать их землей — осторожно и постепенно, чтобы они могли еще какое-то время видеть нас, прощаться с нами, а мы — слышать, что они говорят: Прощайте, дочери, прощай,

ЖОЗЕ САРАМАГО

зять, прощайте, тетушки, прощай, мама. Когда закопали, зять разровнял землю, чтобы, если кто пойдет мимо, не догадался, что тут могила. Поставил камень в головах и другой, поменьше, в ногах, засыпал могилу травой, которую наковырял мотыгой еще раньше, и через несколько дней другие растения, живые, займут место этих вот мертвых, увядших, высохших, которые накормят собою ту самую землю, из которой выросли. Зять большими шагами отмерил расстояние от могилы до приметного дерева, и шагов оказалось двенадцать, потом закинул на плечо лопату и кирку сказал: Идемте. Луна скрылась за тучами, снова задернувшими небосвод. Как раз когда семейство запрягло мула в телегу, пошел дождь.

УЧАСТНИКИ СЕГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ЭПИЗОДА, только что с непривычной для нас обстоятельностью предложенного вниманию любознательного читателя, были при своем внезапном появлении на сцене обозначены в плане социальном как бедные крестьяне. И ошибка, проистекшая от не подтвержденного фактами впечатления, которое они произвели на повествователя, от поверхностного их изучения, должна быть немедленно исправлена, ибо правда всего дороже. Бедная — по-настоящему бедная — крестьянская семья никогда не могла бы ни владеть телегой, ни обладать достаточными средствами, чтобы содержать столь прожорливое животное, как мул. Стало быть, речь идет о мелких земледельцах, людях среднего достатка, получивших образование хотя бы в рамках средней школы, что позволяет им вести друг с другом диалоги не просто грамматически правильные, но имеющие и то, что за неимением лучшего одни называют содержанием, другие — сутью, а третьи, более осмотрительные, — смыслом. А иначе разве смогла бы незамужняя тетка построить такую красивую фразу, которую мы уже комментировали выше: Что скажут соседи, увидав, что здесь больше нет тех, кто был

при смерти да все никак не умирал. Что ж, вовремя исправив промах, восстановив истину, послушаем теперь, что же сказали соседи. Несмотря на все предосторожности, кто-то из них все же заметил телегу и подивился — куда, мол, понесло этих троих на ночь глядя. Именно в эти слова облек бдительный сосед свое удивление, адресовав его самому себе: Куда же это их понесло на ночь глядя, — а утром повторил, внося небольшие изменения и обратив уже к зятю хорошо нам известного старика: Куда же это понесло вас вчера на ночь глядя. Спрошенный ответил что-то в том смысле, что, мол, по делам, но сосед таким ответом не удовлетворился: Какие могут быть дела в ночь-полночь, с телегой, женой и свояченицей, воля твоя, а странно. Странно, однако так все и было. А откуда же вернулись вы, когда уже светало. А это не твое дело. Тут ты прав, извини, это и в самом деле не мое дело, но во всяком случае полагаю, что могу тебя спросить, как старик-то. Все так же. А племянник. По-прежнему. Дай бог, чтоб полегчало обоим. Спасибо. Ну, пока. Пока. Сосед сделал несколько шагов, остановился и вернулся. Показалось мне, будто вы что-то грузили на телегу, и еще показалось, будто невестка твоя несла на руках своего младенца, а если не показалось, а так все и было, скорей всего, что клали вы в телегу тестя, завернутого в одеяло, тем более, что. Тем более — что. Тем более, что назад телега вернулась порожняком, а невестка твоя — с пустыми руками. Как видно, ты всю ночь глаз не смыкал. Я чутко сплю, чуть что — просыпаюсь. Проснулся, когда мы уезжали, проснулся — когда вернулись, это называется «совпадение». Оно самое. Значит, желательно тебе, чтоб я расска-

зал, как все было. Желательно. Тогда ступай за мной. Вошли в дом, сосед поздоровался с тремя женщинами и добавил не вполне искренне: Извините за беспокойство, и подождал. Ты первым все узнаешь, молвил зять, и клятвы молчать мы с тебя не берем. Говори лишь то, что хочешь сказать. Тесть мой и племянник прошлой ночью умерли: мы отвезли их по ту сторону границы, туда, где смерть попечения своего не оставила. Убили, вскричал тут сосед. И так сказать можно, раз уж своими ногами они туда прийти не могли, а может, и нельзя, потому что сделано это было по приказу тестя, а что до бедного ребеночка, то он толком еще и не жил, а похоронили мы их у подножья ясеня, вроде как в обнимку. Сосед схватился за голову: Что ж теперь будет. А будет то, что ты раззвонишь об этом на всю округу, нас схватят и отведут в полицию, а потом, наверно, судить будут и осудят за то, чего мы не сделали. Сделали, сделали. За шаг до границы они были живы, а шагнули за нее — умерли, и скажи ты мне, когда мы их убили и как. Если бы не повезли, то. То они оставались бы в ожидании смерти, которая больше не приходит. Три женщины молча и спокойно глядели на соседа. Я лучше пойду, сказал он, я и в самом деле думал — что-то случилось, однако о таком и помыслить не мог. Просьба у меня к тебе напоследок, молвил зять. Какая. Сведи-ка ты меня в полицию, тогда не придется ходить из дома в дом и рассказывать людям об ужасных наших злодеяниях — только представьте себе, добрые люди, отцеубийцы, детоубийцы, мать божья, что же за чудовища живут рядом с нами. Я не стану так рассказывать. Да знаю, ну, а все же — сведешь или нет. Когда. Прямо сейчас,

знаешь, как говорится: куй железо и прочее. Что ж, пойдём.

Но не было ни суда, ни приговора. Зато стремительней лесного пожара облетела страну весть об этом событии: газеты и прочие сми клеймили злоумышленников, называли сестер убийцами, а зятя — орудием преступления, проливали слезы над стариком и младенцем, словно это были собственные их дедушка и внучек, и, уподобясь барометрам общественной морали, в тысячный раз указывали на прискорбное падение нравов и беспримерное попрание освященных веками семейных ценностей, каковое есть источник, причина и корень всех бед, а двое суток спустя стали поступать сообщения о том, что во всех приграничных районах начались аналогичные происшествия. И вот уже в другие телеги, запряженные другими мулами, погрузили другие тела, и, подбираясь кружными заброшенными путями в те места, где должны были извлечь свою поклажу, привязанную ремнями безопасности или даже — что уже ни в какие ворота не лезет — завернутую в одеяло и упрятанную в багажник, стали колесить по дорогам автомобили всех марок и моделей, без устали подвозя к этой новоявленной гильотине, где в роли ножа выступала, простите за смелое сравнение, тончайшая, невидимая глазу пограничная линия, новых и новых обреченных, которым здесь, по эту ее сторону и по воле закапризничавшей смерти высшая мера в исполнение не приводилась. И далеко не все семьи, поступавшие таким образом, могли бы привести в свое оправдание те веские, хоть и все равно сомнительные доводы, которыми руководствовались уже знакомые нам истомленные крестьяне, даже

отдаленно не предполагавшие, какой почин они открывают своим поступком. Кое-кто вообще не желал видеть в том, что отправил деда или отца на сопредельную территорию, ничего, кроме простого и эффективного, да уж скажите прямо: радикального средства освободиться от родни, мертвым — вот уж подлинно — грузом осевшей у них дома. Пресса же, раньше бичевавшая дочерей и зятя старика, похороненного вместе с внуком, а потом включившая в этот синодик и незамужнюю тетку, которую обвиняли в пособничестве и сообщничестве, теперь взялась корить за жестокость и отсутствие патриотизма людей, на первый взгляд вполне достойных, но в минуту общенационального испытания сбросивших лицемерную личину и явивших миру свой истинный облик. И под напором глав трех сопредельных государств и оппозиции премьер-министр осудил бесчеловечное деяние, призвал с уважением относиться к жизни, а также сообщил, что вооруженным силам, размещенным вдоль границ, приказано препятствовать попыткам пересечения последних лицами, находящимися в крайне тяжелом физическом состоянии, по собственной ли их воле предпринимаются такие попытки или по самоуправству родственников. Премьер, разумеется, даже не заикнулся о том, что на деле, на самом-то деле власти это вполне устраивает, ибо подобный исход — звучит, конечно, двусмысленно — будет в интересах страны и ослабит демографическое давление, на протяжении последних трех месяцев неуклонно и постоянно возрастающее, хотя, впрочем, еще не достигшее по-настоящему тревожных величин. Ни словечком не обмолвился глава кабинета и о своей секретной

встрече с министром внутренних дел, о встрече, в ходе коей решено было разместить по всем градам и весям страны агентов-наблюдателей, а проще говоря — шпионов, поручив им незамедлительно сообщать властям о любом подозрительном перемещении людей, состоящих в родстве с пациентами, которые пребывают в состоянии отложенной смерти. Решение о том, вмешиваться или нет, следует принимать, исходя из особенностей каждого конкретного случая, раз уж правительство не ставит себе задачу полностью перекрыть канал этой невиданной прежде миграции, но лишь удовлетворить требования сопредельных государств, хотя бы отчасти уняв их тревогу и заставив прекратить на время дипломатические демарши. Мы не за тем сюда поставлены, чтоб плясать под их дудку, энергичски выразился премьер. Неохваченными остаются хуторки, мызы, усадьбы, отдельно стоящие строения, заметил министр. Эти пусть делают что хотят, поступают по собственному разумению, и вам ли, мой дорогой, не знать, что к каждому человеку полицейского не приставишь.

Система действовала более или менее исправно недели две, а по прошествии их шпионы стали жаловаться, что им звонят с угрозами и говорят, что если хотят спокойной жизни, то пусть на тайный *трафик* полупокойников смотрят сквозь пальцы, а еще лучше — вообще закрывают глаза, ибо иначе собственной персоной увеличат количество тех, за кем им поручено наблюдать. А что это были не пустые слова, выяснилось довольно скоро: четверо наблюдателей исчезли, а потом неизвестные позвонили их родственникам и сообщили, где именно можно пропавших найти. Где

было сказано, там и нашли — не мертвых, разумеется, но также и не вполне живых. Оказавшись в столь сложном положении, министр внутренних дел решил показать неведомому противнику свою силу, а потому распорядился, во-первых, усилить наблюдение, а во-вторых, прекратить эту, с позволения сказать, пипеточную практику — этого вывозить можно, а этого нельзя, — внедренную с благословения премьера. Ответ последовал незамедлительно: еще четверо шпионов разделили судьбу своих предшественников, но на этот раз последовал только один телефонный звонок и был он адресован самому министру, что можно было истолковать и как провокацию, и как безусловно логичное действие, имеющее целью оповестить: Мы — существуем. Но не только. Ибо разговор содержал в себе и конструктивное предложение договориться по-джентльменски: министр убирает своих наблюдателей, а те, кого представлял его неведомый и невидимый собеседник, обязуются организовать тайный вывоз страдальцев. А вы кто, осведомился сотрудник аппарата, снявший трубку. Приверженцы порядка и дисциплины и большие мастера своего дела, люди, которые терпеть не могут всяческую неразбериху и всегда держат слово да и просто, наконец, честные граждане. И как же называется ваша организация, поинтересовался чиновник. Кое-кто называет нас мафия, через два «ф». Почему через два. Чтобы отличаться от классической, которая пишется с одним. Государство не ведет дел с мафией. Ну да, тех, что скрепляются подписями и печатями, а заверяются нотариально — разумеется, нет. Ни тех, ни других, никаких. А с кем имею честь. Я — сотрудник секретари-

ата. А-а, стало быть, человек, не знающий реальной действительности. Я знаю круг своих служебных обязанностей. В общем, это неважно: от вас требуется только довести наше предложение до сведения министра, если у вас есть к нему доступ. Доступа у меня нет, но о нашем разговоре я немедленно доложу своему непосредственному начальству. На осмысление даем правительству ровно сорок восемь часов и ни секунды больше, а заодно известите это самое начальство, что если ответ будет не таков, как искомый, не выйдут из комы еще сколько-то ваших наблюдателей. Все передам. Итак, послезавтра, в это же время я позвоню справиться о принятом решении. Я записал. Рад был познакомиться. Не могу сказать того же. Уверен, вы перемените свое мнение, когда узнаете, что ваши наблюдатели целые и невредимые вернулись по домам, а если вы еще не позабыли молитвы, которым научили вас в детстве, помолитесь, чтоб так оно и было. Понял. Я и не сомневался. Будьте здоровы. Помните — сорок восемь часов и ни секунды больше. Говорить с вами буду не я. А я так убежден в обратном. Почему. Потому что министр не захочет говорить со мной напрямую, а, кроме того, если дело не заладится, взыщут с вас, и помните — мы предлагаем джентльменское соглашение. Ну, еще бы. До свиданья. До свиданья. Чиновник вытащил из магнитофона кассету и пошел по начальству.

Через полчаса кассета была уже в руках министра. Он прослушал ее раз и другой, прослушал третий, а потом спросил: Этот ваш сотрудник — надежный человек. До сих пор не вызывал ни малейших нареканий. Надеюсь, что и крупнейших тоже. Ни малейших,

ни крупнейших, ответило непосредственное начальство, не уловив иронии. Министр извлек кассету, вытащил из нее пленку, положил рулончик в большую пепельницу и поднес к нему огонек зажигалки. Пленка пошла морщинами и складками, затрещала и через минуту превратилась в столбик черноватого хрупкого пепла. Они ведь тоже могли записать разговор, сказала начальство. Это неважно, каждый может инсценировать телефонный разговор, нужны лишь два голоса да магнитофон, главное — уничтожить ленту-оригинал, а значит — и все копии. Нет необходимости говорить, что телефонистка на коммутаторе тоже зафиксировала звонок. Надо озаботиться тем, чтоб и эти записи исчезли. Разумеется, а теперь разрешите идти, вам надо обдумать. Не уходите, я уже все обдумал. Неудивительно — вы, господин министр, обладаете на редкость острым умом. Ваши слова прозвучали бы лестью, если бы не заключали в себе чистейшую правду: я и в самом деле быстро соображаю. Неужели вы намерены принять их предложение. Я сделаю им встречное. Боюсь, они его отвергнут, этот их эмиссар вел беседу самым решительным и более чем угрожающим тоном и пообещал, ну, вы сами слышали что́, если наш ответ их не устроит. Дорогой мой, мы дадим ответ, который их устроит. Не понимаю. Дорогой мой, ваша беда в том — только не обижайтесь, — что вы не способны мыслить как министр. Виноват и очень сожалею. Говорю же — это не вина, а беда, и жалеть тут не о чем: если когда-нибудь вас призовут к исполнению министерских обязанностей, то едва лишь вы сядете в это кресло, ваши мозги начнут варить совершенно иначе — разница невообрази-

мая. К чему мне эти фантазии, я — простой чиновник. Не зарекайтесь. Итак, я весь внимание. Послезавтра этот ваш сотрудник — раз уж ему выпало отвечать эмиссару, то и вести переговоры от нашего имени должен он и никто другой — скажет, что мы согласились рассмотреть сделанное нам предложение, и тотчас добавит, что общественное мнение и оппозиция ни за что не допустят, чтобы тысячи агентов прекратили свою деятельность без внятного объяснения причины. А вмешательство мафии в качестве таковой причины названо быть не может. Именно так, хоть, наверно, и надо выразить это другими словами. Извините, господин министр, ляпнул, не подумав. После чего этот ваш сотрудник выдвинет встречное предложение или, если угодно, альтернативный вариант: агенты-наблюдатели остаются на своих местах, но — дезактивируются. Дезактивируются. Ну да, я полагаю, это хорошее слово. Без сомнения, господин министр, я просто удивился. А чего тут удивляться: это единственный способ сделать вид, что мы не поддаемся на шантаж этих негодяев. На самом же деле — поддались. Нам важно сохранить фасад, а уж что там будет твориться за ним — не наше дело. То есть. Ну, представим, что наше ведомство перехватит такой транспорт и арестует злоумышленников, совершенно ясно, что эти риски уже включены в предъявленные родственникам счета. Нет там ни счетов, ни квитанций, мафия налогов не платит. Да это я так, к слову, не в этом дело: важно, что выигрывают все — государство избавляется от тяжкого бремени, агентов больше не увечат и не калечат, семьи вздохнут с облегчением, уверяюсь, что их близкие обретут наконец вечный покой, а не останут-

ся живыми покойниками, ну а маффия получит свой процент. Блестящий план, господин министр. Да, но осуществится он лишь при том неременном условии, что никто не проболтается. Вы правы. Должно быть, мой дорогой, ваш министр показался вам прожженным циником. Да что вы, господин министр, я просто поражаюсь, как стремительно и с какой безупречной логикой вы построили эту схему. Опыт, мой дорогой, опыт. Я немедленно переговорю с этим сотрудником, передам ему ваши инструкции, совершенно уверен, он справится, как я уже докладывал, до сих пор он повод для недовольства не давал. И взятки не брал, надо полагать. Истинная правда, господин министр, отвечал собеседник, уловивший наконец соль начальственной остроты.

Все — ну, или если быть точным, почти все — прошло, как предвидел министр. Ровно в назначенный час, ни минутой раньше, ни минутой позже, представитель преступного сообщества, именующего себя «маффия», позвонил узнать, что имеет ему сказать ведомство внутренних дел. Чиновник справился с возложенным на него поручением превосходно, подтвердив, что похвалили его не напрасно: твердо и ясно донес основную мысль — агенты остаются на своих местах, но действовать перестают — и имел удовольствие услышать и передать по инстанции наилучший из возможных ответов: альтернативное предложение правительства будет внимательнейшим образом рассмотрено, о результатах сообщим сутки спустя. И сообщили. Предложение правительства может быть принято, но — с одним условием: пресловутой дезактивации подлежат лишь те агенты, которые остались

верны своему служебному долгу или, иными словами, те, кого мафия не сумела привлечь к сотрудничеству. Постараемся же взглянуть на проблему глазами преступного сообщества. В преддверии сложной и длительной операции общенационального масштаба, когда лучшие, самые испытанные кадры брошены на обработку родственников, которые в сущности и сами совсем не прочь избавиться от своих близких, а их самих — избавить от страданий не только бессмысленных, но и бесконечных, стало понятно, что будет очень хорошо и полезно по мере возможности, расширяющейся безмерно благодаря испытанному арсеналу средств, — подкупу, запугиванию, шантажу — использовать гигантскую сеть агентов, уже раскинутую властями по всей стране. И об этот камень, брошенный посереде дороги, споткнулась стратегия министра внутренних дел, причинив большой ущерб престижу и достоинству государства и правительства. И тот, оказавшись между сциллой и харибдой, молотом и наковальней, двух огней, шпагой и стеной — ну, что там еще у нас имеется, — побежал советоваться с премьером насчет нежданно возникшего гордиева узла. Скверно было еще и то, что дело зашло слишком далеко, назад не отыграешь. Глава кабинета, хоть и был опытней своего коллеги, не нашел ничего лучше, как предложить бандитам новую сделку, введя нечто вроде *numerus clausus*, то есть квоты: скажем, двадцать пять процентов всех действующих агентов перейдут на другую сторону. Снова пришлось чиновнику излагать уже терявшему терпение собеседнику компромиссный вариант договора, который, как считали министры, истомленные то гаснущей, то вновь слабо

брезжащей надеждой, может быть наконец заключен, заключен, да, разумеется, не подписан, ибо когда речь идет о джентльменском соглашении, довольно, как объясняет нам словарь, честного слова, заменяющего все юридические процедуры. Но считать так — значило не иметь ни малейшего представления о коварном и хитроумном нраве маффиози. Во-первых, они не назначили срок своего ответа, отчего бедный министр внутренних дел вертелся как на раскаленных углях и даже, вконец отчаявшись, собирался подавать в отставку. Во-вторых, когда несколько дней спустя они все же соизволили позвонить, то сообщили всего лишь, что пока еще не пришли к выводу о том, насколько устраивает их новый предмет переговоров, а затем как бы невзначай и вскользь намекнули, что не несут никакой ответственности за тот прискорбный факт, что еще четверо агентов были обнаружены накануне в самом плачевном состоянии. В третьих, поскольку всякое ожидание в конце концов кончается, а хорошо ли, плохо ли — это уже другой вопрос, был дан ответ, доведенный до сведения министра через все тех же лиц и подразделявшийся на два подпункта: а) квота агентов, работающих отнюдь не на правительство, должна составить совсем не двадцать пять, а вообще даже тридцать пять процентов, и б) мафия требует предоставить ей право, как только она сочтет это выгодным и даже не думая ставить в известность правительство и уж подавно — заручаться его согласием, перемещать перешедших к ней на службу агентов в те регионы, где работали дезактивированные агенты, и — на замену последних. Хоть стой, хоть падай. Есть ли какой-нибудь выход из этой западни, осведомился

глава кабинета у министра внутренних дел. Едва ли, отвечал тот, если откажемся, будем получать ежедневно по четыре агента, негодных ни для службы, ни для жизни, а согласимся — попадем в зависимость от этого сброда бог знает насколько. Навсегда или по крайней мере до тех пор, пока семьи не перестанут избавляться от своих полупокойников. Знаете, у меня идея. Нет, не знаю и не знаю даже, радоваться ли этому. Я стараюсь изо всех сил, господин премьер-министр, а если кажусь вам помехой, только скажите. Нельзя принимать все так близко к сердцу, излагайте свою идею. Я полагаю, господин премьер-министр, что мы имеем дело с элементарным вопросом спроса и предложения. Это вы к чему, ведь речь у нас о людях, чья жизнь может быть окончена одним-единственным способом. Точно так же, как в классическом вопросе о том, что было раньше — курица или яйцо, не всегда возможно определить, предложение ли определяет спрос или, наоборот, спрос — предложение. Мне кажется, имело бы смысл перебросить вас с внутренних дел на экономику. Разница, господин премьер-министр, не так велика, как может показаться: экономика и внутренние дела подобны сообщающимся сосудам. Не отвлекайтесь. Если бы та первая семья не догадалась, что решение проблемы ждет их по ту сторону границы, нынешняя ситуация выглядела бы иначе, если бы примеру этой семьи не последовали многие и многие другие, мафия — через два «ф» — не додумалась бы погреть руки на деле, которого просто бы не существовало. В теории — конечно, хотя эти ловкачи способны из камня сок выжать и продать по дорожке, но я по-прежнему не вижу, в чем заключает-

ся ваша идея. Идея, господин премьер-министр, очень проста. Дай-то бог. Если в двух словах, то — надо перекрыть канал предложения. И как же вы намереваетесь это сделать. Надо убедить семьи, что во имя священных начал гуманизма, ради любви к ближнему и солидарности они не должны вывозить своих близких за границу. И вы полагаете, что сотворить такое чудо вам под силу. Я думаю, следует развернуть широчайшую кампанию с привлечением всех средств массовой информации и наглядной агитации, вешать плакаты и растяжки, лепить наклейки на бамперы и лобовые стекла, разбрасывать листовки, ставить спектакли, снимать фильмы игровые и анимационные, словом, делать все, чтобы растрогать до слез и заставить раскаяться тех, кто позабыл о своем семейном долге и родственных обязанностях, чтобы вернуть людям чувство сострадания и солидарности, и я убежден — в самом скором времени грешники осознают всю непростительную жестокость своего поведения и вернуться к прежним ценностям, которые еще так недавно были основополагающими. Мои сомнения возрастают с каждой минутой: теперь я спрашиваю себя, не вручить ли вам портфель министра культуры или по делам вероисповеданий, ибо вы явно зарываете свой талант в землю. Правильней было бы объединить все три ведомства. Ага, и экономики — туда же. Да, потому что это, повторяю, сообщающиеся сосуды. Только ничего не выйдет из этой вашей кампании. Почему же, господин премьер-министр. Потому что такие кампании на пользу только тем, кто на них наживает-ся. Мы провели множество кампаний. Да, и результаты известны, но, кроме того, если даже и будет какой-

нибудь прок, то не сегодня и не завтра, а я должен принять решение немедленно. Жду ваших распоряжений, господин премьер. Глава кабинета улыбнулся весьма уныло: Все это — нелепо и смешно, молвил он, мы с вами знаем, что выбирать не из чего, а наши предложения только усугубят ситуацию. Следовательно. Следовательно, если мы не хотим ежедневно иметь на совести по четыре агента, которых с проломленным черепом подтащили к порогу смерти, нам не остается ничего иного, как принять предложения мафии — через два «ф». Мы могли бы провести молниеносную полицейскую операцию, перехватать и посадить сколько-то там десятков мафиози — может быть, тогда мы заставим главарей отступить. Чтобы уничтожить дракона, надо отрубить ему голову, а не подстригать когти. Тем не менее. Четыре агента в день, господин министр, четверо искалеченных, вспомните об этом и признайте, что мы с вами связаны по рукам и ногам. Оппозиция совсем остервеенеет — начнутся вопли, что мы продали страну бандитам. У них принято говорить не «страна», а «держава». Тем хуже. Может быть, церковь нам поможет: примет в расчет, что решение это мы принимаем ради того, чтобы сохранить людям жизнь. Это раньше было можно говорить «сохранить жизнь», а сейчас — нет, нельзя. Вы правы, надо будет что-нибудь придумать. После недолгого молчания премьер сказал: Ну, хватит, проинструктируйте этого вашего чиновника и начинайте дезактивацию, а кроме того, недурно было бы знать, как именно маффия собирается распределять по стране эти двадцать пять процентов. Тридцать пять. Спасибо вам сердечное за эту поправку: она напоминает,

что наше поражение, которое с самого начала было неизбежным, оказалось еще более тяжким. Печальный день. Семьи четырех следующих агентов не согласились бы с вами, знай они, что тут происходит. Может быть, эти четверо уже завтра будут работать на мафию. Такова жизнь, дражайший министр сообщающихся сосудов. Внутренних дел, господин премьер, внутренних дел. Этот сосуд — посерединке.

КТО-НИБУДЬ МОГ БЫ, пожалуй, подумать, что после стольких и столь унижительных уступок, на которые пошло правительство во время своих переговоров с преступным сообществом, а как пошло, так и дошло до того, что скромные и честные государственные служащие полностью посвящают свое рабочее время мафии, так вот, говорю, кто-нибудь мог бы подумать, будто предел моральной низости достигнут и дальше ехать некуда. Ан нет: когда вслепую бродишь по топкой почве *реальной политики*, когда палочку хватается и, не заглядывая в партитуру, концертом дирижирует прагматизм, можно не сомневаться, что логический императив оподления покажет — да нет, есть еще куда. Министерство обороны, в оны, более искренние, дни называвшееся военным, разослало в войска, размещенные вдоль границ, предписание бдительно наблюдать лишь за автострадами государственного значения, а особенно — за теми, которые ведут в сопредельные страны, оставив в прежнем буколическом покое второстепенные магистрали, не говоря уж о проселках, тропинках и прочих стежках-дорожках. Это означало, разумеется, что значительная часть войск вернется в места постоянной дислокации, что

вызвало взрыв неподдельного ликования у рядовых и капралов, ибо им до смерти надоело день и ночь стоять в карауле и ходить в патруле, а с другой стороны — столь же искреннее недовольство сержантов, по-видимому, лучше своих подчиненных разбирающихся в таких понятиях, как воинская честь и служба отечеству. Но если капиллярное движение этого недовольства, поднимаясь до прапорщиков и лейтенантов, отчасти теряло первоначальный импульс, то, достигнув уровня капитанов, вновь обретало прежнюю и даже бóльшую силу. Никто, само собой, не смел произнести вслух опасное слово «маффия», но в разговорах по душам неизменно всплывали воспоминания о том, как еще недавно, пока не вышел приказ, останавливали они для проверки многочисленные фургоны, заполненные неизлечимо больными, и агент, сидевший рядом с водителем, немедленно удостоверял свою личность и полномочия и предъявлял, не дожидаясь, когда попросят, снабженную всеми необходимыми подписями и печатями бумагу, из которой следовало, что в интересах национальной безопасности такому-то и такому-то, страдающему таким-то и таким-то заболеванием, разрешается выезд — конечный пункт не назывался — и, более того, всем военным и гражданским властям предписывается оказывать ему всяческое содействие в целях обеспечения скорейшего перемещения. И никакое подозрение не смутило бы доблестный дух сержантов, не закралось бы в простую их душу, если бы в семи по крайней мере случаях агенты по страннейшему совпадению не подмигивали проверяющим, протягивая им документы. С учетом того, как далеко отстояли друг от друга места, где разыгры-

вались эти сцены сельской жизни, было немедленно отброшено как заведомо абсурдное предположение, будто речь идет о двусмысленной, так скажем, ужимке, неотъемлемой от самого первобытного обольщения, практикуемого по отношению к лицу своего или противоположного, что в данном случае неважно, пола. Все без исключения агенты заметно волновались — кто больше, кто меньше — и вели себя так, словно только что швырнули в море бутылку с запиской о помощи, и это обстоятельство наводило бдительное сержантское сословие на мысль о том самом шиле, что в мешке не утаишь. А вслед за вышеупомянутым и необъяснимым приказом вернуться в расположение части поползли неведомо где и как зародившиеся слухи, источником коих, как доверительно сообщали вестовщики, было само министерство внутренних дел. Атмосфера в казармах сгустилась до степени, определяемой выражением «хоть топор повесь», о чем не преминули сообщить оппозиционные газеты, тогда как издания официозные яростно отрицали всякую вероятность того, что некие миазмы могли отравить боевой дух вооруженных сил, но так или иначе слухи о готовящемся военном перевороте — причем никто не брался объяснить ни цели его, ни причины — ширились и множились, да так, что сумели в общественном сознании оттеснить на второй план проблему больных, которые не умирают. Не то чтобы о ней совсем забыли: доказательством служит чья-то крылатая фраза, без конца повторяемая завсегдатаями кафе: Если и случится переворот, в одном можно не сомневаться — сколько бы друг в друга ни палили, до смерти никого не убьют. С минуты на минуту ожидалось,

что король обратит к нации призыв сплотиться, правительство сообщит о пакете первоочередных мер, выступят с заявлением главнокомандующие сухопутными силами и авиацией — выхода к морю у страны не было, а на нет и флота нет — клянясь в верности законной власти, огласят свой манифест писатели, ознакомят со своей позицией художники, пройдут концерт солидарности и выставка революционных плакатов, оба крупнейших профсоюза объявят о начале всеобщей забастовки, конгрегация епископов призывает к молитве и посту, пройдет процессия «кающихся», разбросают неимоверное количество желтых, синих, зеленых, красных, белых листовок, кое-кто уверял даже, будто готовится колоссальная манифестация, и тысячи людей всех возрастов и сословий, находящиеся в состоянии отложенной смерти, продефилируют по центральным проспектам в инвалидных колясках, на каталках, носилках или спинах самых дюжих своих сыновей, а впереди заполощется исполинский транспарант с надписью без запятых, принесенных в жертву выразительности: Мы страдальцы здесь шагаем вас счастливец поджидаем. Но нет, ничего этого не понадобилось. Слухи о том, что мафия напрямую вовлечена в доставку людей за границу, не рассеялись, забегаая вперед, скажем, что в связи с последующими событиями они даже усилились, но стоило лишь разнестись известию о внешней угрозе, как буквально в течение часа унялись братоубийственные страсти и три сословия — духовенство, аристократия и народ, — все еще существовавшие в стране вопреки неостановимому ходу прогресса, сплотились вокруг своего монарха и — уже с некоторой совершенно оп-

равданной неохотой — своего правительства. О том, что было дальше, поведаем с почти всегда свойственной нам лапидарностью.

Правительства трех соседних государств, взбешенные тем, что похоронные команды — по воле мафии или сами по себе — постоянно проникают в их пределы с территории заблудшей страны, где никто не умирает, решили после многих и совершенно безрезультатных дипломатических демаршей действовать совместно и двинули к границам свои войска, отдав им приказ открывать огонь по нарушителям — правда, лишь после третьего предупреждения. Здесь уместно будет добавить, что гибель нескольких мафиози, пересекших запретную черту и застреленных почти в упор, была воспринята правильно, то есть как профессиональная вредность, и моментально использована для увеличения тарифов на услуги сообщества, будучи разнесена по графам «личная безопасность» и «оперативный риск». Упомянув об этой красноречивой подробности, дающей представление о том, как исправно функционирует преступная организация, пойдём далее. И снова, тактически безупречным маневром обойдя колебания правительства и сомнения высоких военных чинов, взяли на себя инициативу сержанты, которые сделались сперва закоперщиками, а потом и героями народного движения, выплеснувшегося из домов на площади и проспекты с требованием немедленно вернуть армию на поля сражений. Безразличные и равнодушные к четверному бедствию, постигшему нашу отчизну — демографическому, социальному, экономическому и политическому — сопредельные державы сбросили наконец маску и явили миру свое

истинное лицо — лицо беспощадных завоевателей и безжалостных захватчиков. О том, что они завидуют нам, говорилось в домах и магазинах, по радио и телевидению, об этом неустанно твердили газеты и журналы: да, они завидуют тому, что в нашей стране никто не умирает, и потому хотят оккупировать нас, чтобы тоже перестать умирать. Прodelав двухсуточный марш-бросок с развернутыми знаменами и пением патриотических песен — марсельезы, карманьолы, интернационала, *deutschland uber alles, god save the king, bandera rossa, stars and stripes*, нет страны на свете краше дорогой отчизны нашей — солдаты вернулись на так недавно оставленные позиции, готовясь отбить атаку и покрыть себя бессмертной славой. Не пришлось. Не было ни атаки, ни, соответственно, славы. Соседи — никакие не захватчики и совсем почти не агрессоры — просто хотели, чтобы к ним больше не везли хоронить без разрешения эту новую разновидность вынужденных переселенцев, и ладно бы еще только хоронить, но еще ведь и убивать, истреблять, уничтожать, ибо в тот самый миг, когда, ногами вперед, чтобы глаза видели, что происходит со всем прочим телом, пересекали бедолаги границу, тут же и обрывалось земное их бытие и испускался последний вздох. И вот лицом к лицу — два вражьих стана, но на этот раз кровь рекой не потекла. И обратите внимание — не потому, что не захотели наши солдаты: они то как раз были уверены, что не погибнут, даже если пулеметная очередь перережет их надвое. Впрочем, движимые более чем законным научным любопытством, спросим себя, как будут жить отдельно друг от друга две половинки тела, если желудок, скажем, ос-

танется в одной, а кишки, к примеру, — в другой. Спросим, но ответа не получим. Короче говоря, только в совершенно безумную голову могла прийти мысль выстрелить первым. Никто и не выстрелил. И даже то обстоятельство, что несколько солдат с той стороны решили перебежать на эту, дабы оказаться в новоявленном эльдорадо, не возымело иных последствий, кроме немедленного возвращения дезертиров в первоначальное состояние, где их уже ожидал военно-полевой суд. Конечно, рассказанное имеет малое отношение к трудолюбиво выстраиваемой нами истории, и возвращаться к нему мы не будем, но и оставлять его на темном дне чернильницы не хотелось бы. Вероятней всего, трибунал решил априори не принимать в расчет наивное желание жить вечно, столь свойственное душе человеческой: Чем же это кончится, если все захотят жить вечно, да, вот именно — чем, спросит сторона обвинения, используя приемы самой бессовестной риторики, а у защиты не хватит духу или разума найти уместный ответ, ибо она и сама не знает, чем. Надо надеяться, что этих бедолаг хотя бы не расстреляют. Иначе получится так, что поехали по шерсть, а вернулись стриженные.

Но довольно об этом. Если помните, говоря о том, что сержанты и примкнувшие к ним прапорщики с капитанами возлагали на мафию прямую ответственность за перевозку страждущих, мы добавили, что подозрения эти укрепились в ходе последующих событий. Теперь пришло время рассказать, что же это были за события такие и как именно они разворачивались. Следуя примеру первопроходцев, мафия поступала точно так же — вывозила умирающих за гра-

ницу, хоронила покойников и взимала за это огромные деньги — с той лишь разницей, что совершенно не заботилась о всяких там топографических и орографических¹ приметах, которые в будущем должны были помочь скорбящим и раскаивающимся в своей жестокости родственникам отыскать могилку и попросить у почившего прощения. И не надо обладать способностями к стратегическому мышлению, чтобы уразуметь: три армии, сосредоточенные по ту сторону границ, становятся серьезнейшей помехой похоронному делу, до сей поры проходившему на удивление гладко. Но мафия не была бы мафгией, если бы не нашла выход. И жалко, ей-богу жалко, заметим в скобках, что столь блестящие умы, как те, что руководят преступными сообществами, сошли с торных путей законопослушания и нарушили мудрую библейскую заповедь — ну, там насчет добывания хлеба насущного в поте лица своего — однако факт есть факт: и хоть восклицали они с горечью вслед за адамастором²: Вовеки не бывало мне так тошно, однако с помощью некой хитроумной уловки обошли препятствие, неодолимое для всех других. Прежде чем продолжить, разъясним, что слово «тошно», вложенное гением нашей словесности в уста несчастному гиганту, означало тогда всего лишь состояние глубокой грусти, тоски, сожаления, но с течением времени простой народ смекнул, что понапрасну про-

¹ Орография — описание различных элементов рельефа (хребтов, возвышенностей, котловин и т. п.) и их классификация по внешним признакам вне зависимости от происхождения.

² Персонаж эпической поэмы классика португальской литературы Луиса де Камозенса (1524—1580) «Лузиады» (1572), посвященной путешествию Васко да Гамы, — гигант, персонифицирующий опасности, которые подстерегают мореплавателей у Мыса Бурь, и тщетно добивающийся любви нимфы Фетиды.

падает прекрасное слово, коим можно обозначить такие понятия, как отвращение, омерзение, дурноту, выходящие из прежнего синонимического ряда вон. Со словами вообще следует держать ухо востро: они переменчивы не хуже людей. Само собой разумеется, что и словцо «уловка» давно уже оторвалось от своей основы: какая уж тут ловля, когда в дело вступили темные личности с наклеенными усами, в шляпах с опущенными полями, шифрованные телеграммы, кодированные телефонные переговоры, полночные встречи на перекрестках, записки под камнем и все прочее, в чем такое деятельное участие принимали пресловутые агенты. Не следует также думать, что и транзакции эти, как и прежде, остались всего лишь двусторонними. Помимо маффии, обитавшей в стране, где никто не умирает, принимали участие в переговорах подобные же организации и в сопредельных государствах, ибо это был единственный способ сохранить независимость каждого преступного сообщества в национальных рамках. Считалось зазорным и совершенно недопустимым, чтобы маффия одной страны вступала в контакт с властями другой. Все же есть на свете границы, перейти которые не дают стыд и уважение к священному принципу национального суверенитета, лелеемому как мафиями, так и властями, но если со вторыми дело вроде бы ясное, то в отношении первых оно представлялось бы весьма сомнительным, не будь у нас неопровержимых доказательств того, с какой ревнивой непреклонностью привыкли они оберегать свои владения от покушений зарубежных коллег. Очень и очень нелегко было координировать действия, примирять общее и

частное, сохранять равновесие интересов, что отчасти и объясняет, почему две долгие и опять же тошно-творно-скучные недели солдаты от безделья перебра-нивались через громкоговорители, причем тоже старались держаться в неких рамках и не слишком задевать противников во избежание того, чтобы какому-нибудь чересчур щепетильному подполковнику не бросилась кровь в голову и чтоб, фигурально выражаясь, не запылала Троя. Переговоры, долгие и трудные, происходили в обстановке полнейшей секретности, хотя кое-что все же просачивалось наружу: имеются веские основания предполагать, что представители трех армий — с согласия высшего руководства своих государств — согласились — хотелось бы знать, сколько именно они за это заломили — не замечать всех этих поездок взад-вперед, туда-сюда через границу, так что вопрос наконец-то решился. Додумался бы до такого и малый ребенок, но, чтобы задумка оказалась эффективна, нужно, чтобы, войдя в возраст, именуемый разумным, постучался он в двери училища, где готовят мафиози, и сказал: Я следую своему призванию, да будет воля ваша надо мной.

Ценители краткости, любители лаконизма, приверженцы экономии языковых средств уже наверняка спрашивают, почему, если идея столь проста, нужно так долго разглагольствовать и почему бы не сказать сразу. Ответ простотой не уступит идее и заключаться будет в современном термине, призванном отчасти компенсировать архаизмы, кои, по просвещенному мнению многих, покрывают наше повествование подобием плесени. Итак, нас спрашивают, зачем, и мы отвечаем: ради *бэкграунда*. Когда звучит это слово,

каждый знает, о чем идет речь, и мы сильно сомневаемся, что был бы прок, употреби мы словосочетание «задний план», не только отвратительно старомодное, но и неточное, ибо «бэкграунд» — далеко не только «задний план», но и бесчисленное множество планов, со всей непреложностью существующих между наблюдаемым объектом и линией горизонта. Ну, так и быть: скажем лучше — «помещение в контекст». Да-да, так тому и быть, а поместив наконец излагаемое в контекст, согласимся, что пришел черед рассказать, в чем же состояла уловка мафии, позволившая ей устранить даже намек на вооруженный конфликт, который был не только не в ее интересах, а совсем наоборот. И вот, как уже было сказано, даже малое дитя додумалось бы вывозить умирающего за границу, а как только неизбежное случится, ввозить его, уже в статусе покойника, обратно и класть в лоно родной земли. Шах и мат в самом что ни на есть точном, строгом и полном смысле слова. Сами видите, вопрос решился без ущерба для всех вовлеченных сторон, и четыре армии, раз уж исчезла надобность торчать в полной боеготовности на границе, смогли убраться восвояси, ибо мафия намеревалась совершать быстрые возвратно-поступательные движения: напомним вам еще раз, что страждущие испускали дух в самый момент пересечения рубежной линии, так что не было ни малейшей надобности задерживаться за нею дольше необходимого и весьма краткого времени: ведь смертный миг всегда мимолетней всех прочих мигов и подобен вздоху, а для сравнения вспомните, как вдруг сама по себе, безо всякого постороннего дуновения, гаснет свеча. Никогда никакая эвтаназия не бывала

так легка и безболезненна. Самое любопытное заключается еще и в том, что юстиция той страны, где никто не умирает, не имеет никаких оснований начинать уголовное преследование перевозчиков-похоронщиков, если даже предположить, что она хотела бы этого, а не была связана джентльменским соглашением своего правительства с маффией. В преднамеренном убийстве не обвинишь, потому что в техническом смысле никакого убийства и нет, а кроме того, это самое деяние, предосудительное, но не подсудное — выражаюсь как умею, кто может, пусть выразится лучше, — происходит за пределами страны; не привлекать же их за то, что предают мертвых земле, такая уж у них, у мертвых, судьба, туда им, в сущности, и дорога. Наоборот, в ножки бы надо поклониться, что могильщики взяли на себя такой во всех смыслах тяжкий труд. И вменить им в вину можно разве, что ничья кончина не зафиксирована врачом, что погребение происходит без соблюдения принятых формальностей и что сама могила не только остается безымянной, но и со всей непреложностью после первого сильного дождя, когда попрут из животворного гумуса молодые бойкие всходы, должна будет затеряться на местности бесследно. Прикинув предстоящие трудности и убоявшись увязнуть в топкой трясине издержек и компенсаций, в которую ввергнут ее беспощадные и безжалостные, поднаторелые в крючкотворстве, проваренные в тяжбах адвокаты маффии, юстиция решила отойти в сторонку и подождать, пока не станет ясно, к чему дело клонится. И это было мудро. Страна взбудоражена как никогда, власти в смятении, устои трещат, незыблемые еще вчера ценности не то что

зыблются, а сыплются, гражданское безразличие проникло во все поры и сферы, и один бог знает, что будет дальше, а скорей всего — и ему тоже невдомек. Ходит слух, будто мафия заключает джентльменский договор с заправилами погребального бизнеса с намерением оптимизировать усилия и дифференцировать задачи, что в переводе на человеческий язык значит: одни будут поставлять покойников, а другие — предоставлять технику и средства. Похоронные бюро ухватились за это предложение обеими руками, ибо к этому времени уже измучились тратить свой тысячулетний опыт, навык и ноу-хау на устройство могил для собак, кошек, канареек, на то, чтобы предать земле морскую — вот ведь несообразность какая — свинку или окончательно оцепеневшую черепаху, ручную белку или ящерицу, любившую лежать на плече у хозяина. Никогда еще не падали мы так низко, твердили они. А теперь будущее рисуется им в тонах светлых и радостных, расцветают надежды и можно даже сказать, используя на поверхности лежащий парадокс, что похоронных дел мастерам воссияла заря новой жизни. И все благодаря услужливости мафии и ее тугой кошеле. Она — не кошелек, но мафия, — когда покойник пересекал границу в обратном направлении, доставляла к месту происшествия врачей, чтобы зарегистрировали смерть; она договаривалась с местными властями о том, чтобы ее клиентов хоронили в самую первую очередь и в то время дня и ночи, когда ей это будет надо. Обходилось, сами понимаете, недешево, но дело того стоило, фактуры пухли за счет дополнительных услуг и добавочных расходов, и бизнес процветал. И вдруг, на ровном месте, будто закрутили

кран, иссяк полноводный поток страдальцев, следующих к месту последнего упокоения. Казалось, что их семьи, охваченные внезапным порывом раскаянья, дружно усовестились и решили, что не будут больше отвозить своих близких умирать за границу, рассуждая примерно так: значит, как были они в силе и разуме — были хороши, а теперь, значит, выбрасываем их на помойку, словно зловонную ветошь, которую уж и стирать бесполезно. Похоронные бюро перешли от лучезарного ликования к черному отчаянью: опять маячит призрак разорения, опять терпеть горчайшее унижение, хороня собак, кошек, канареек и прочую живность, включая черепах, морских свинок, белок, сыгравших в ящик ящериц, впрочем, нет, ящериц больше не будет — только одна из всех умела лежать на плече у хозяина. Маффия, не теряя спокойствия, не впадая в панику, решила разобраться, что к чему. Все оказалось просто. Семьи с оговорками и недомолвками не столько объяснили, сколько дали понять, что одно дело, когда вывозишь родственника тайно и скрытно, под покровом ночи; и соседям вовсе необязательно знать, пребывает ли он по-прежнему на одре болезни или испарился куда-то, тут и соврать легче, ответив сокрушенно: Да все так же, — на вопрос соседки по этажу: Как там ваш дедушка. И совсем другое дело теперь, с появлением свидетельств о смерти и надгробных плит на кладбище: очень скоро узнают завистливые и злоязычные соседи, что помер дедушка единственно возможной смертью, то есть был вывезен жестоким и неблагодарным семейством за кордон. Стыдно нам стало, очень стыдно. Маффия послушала-послушала и сказала, что подумает. Думы длились

ЖОЗЕ САРАМАГО

не больше суток. Следуя примеру проторившего этот путь старика со страницы 46 — мертвые сами пожелали стать таковыми, а значит, в свидетельстве о смерти в графе «причина смерти» следует отныне писать — «самоубийство». И открылся завернутый было кран.

НО НЕ ВСЕ БЫЛО ТАК ГНУСНО В СТРАНЕ, где, как вы знаете, никто не умирал; не во все ячейки общества, мечущегося между надеждой жить вечно и страхом никогда не умереть, сумела прожорливая мафия вонзить свои кривые когти, растлевая души, приводя к покорности тела, марая то небольшое, что еще оставалось от добропорядочности иных времен, когда конверт, содержащий внутри нечто отчетливо пахнущее взяткой, немедленно возвращался вручавшему с ясным и твердым ответом вроде, например, такого: Купите на эти деньги игрушек своим детям, — или: Вы не по адресу обратились. И чувство собственного достоинства было в ту пору доступно всем классам и сословиям. Ныне, несмотря ни на что и вопреки фиктивным самоубийствам и грязным делишкам на границах, тогдашний дух еще продолжает носиться над водой — не той, что течет в море-океане, омывающем другие, далекие земли, а над водой озер и рек, ручьев и прудов, луж, мимоходом оставленных дождем, и таинственно мерцающей в глубине колодцев, где почему-то яснее всего постигается высота неба, и даже — хоть и кажется невероятным — над безмятежной гладью аквариумов. Вот в такую именно минуту, когда

поднявшаяся к поверхности воды красноперая рыбка, рассеянно зевнула и уже не так рассеянно спросила себя, сколько же это времени не меняли эту самую воду, и хорошо знала рыбка, о чем спрашивает, ибо раз и другой пробивала тончайшую пленку на том месте, где воздух смешивается с водой, так вот, именно в этот судьбоносный миг ученику философа предстал во всей своей нагой непреложности вопрос, которому суждено было положить начало полемике столь ожесточенной, какой и не бывало за всю историю страны, где никто не умирает. Да, дух, носившийся над водой аквариума, осведомился у начинающего философа: Не случалось ли тебе задумываться над тем, одинакова ли смерть для всех живых существ, будь то животные, включая человека, или растения, включая траву под ногами и стометровой высоты *sequoiadendron giganteum*, так вот, одинакова ли смерть для человека, знающего, что умрет, и для лошади, понятия об этом не имеющей. И еще спросил: Когда умирает шелковичный червь, наглухо затворившийся в своем коконе и задвинувший за собой все щеколды, и возможно ли, чтобы жизнь одного существа рождалась из смерти другого, чтобы жизнь бабочки рождалась из смерти гусеницы, или же шелковичный червь не умер, потому что воплотился в бабочку. И ученик философа ответил так: Червь не умер, умрет бабочка, отложив яички. Да я это знал задолго до твоего рождения, сказал на это дух, носившийся над водами аквариума, шелковичный червь не умирает, и в коконе после того, как вылетает из него бабочка, не остается никакого трупа, ты сам так сказал, жизнь одного рождается из смерти другого. Называется «метаморфоза», и кто ж этого не зна-

ет, снисходительно сказал ученик философа. Красиво звучит и много сулит, ты сказал «метаморфоза» и дальше поехал, словно не заметив, что слова — суть этикетки, приклеенные к вещам и явлениям, но не сами эти вещи и явления, и тебе не дано узнать, каковы они на самом деле и даже как по-настоящему называются они, ибо имена, которые ты им даешь, не более чем имена, которые ты им даешь. Так кто же из нас двоих философ. Таковых здесь нет: ты всего лишь учишься философии, а я — дух, носящийся над водами аквариума. Мы, помнится, говорили о смерти. Не о смерти, а о смертях, я спросил, на каком основании не умирают человеческие существа и другие млекопитающие, да, вот именно, почему не-смерть одних не становится не-смертью других, и когда, к примеру, эта вот красноперая рыбка умрет, причем хочу тебя предупредить, что если не сменишь воду, произойдет это вскоре, так вот, сумеешь ли ты узнать в ее смерти другую смерть, от которой ныне ты, неизвестно почему, спасен. Раньше, когда у нас еще умирали и мне, хоть редко, но приходилось видеть покойников, я никогда не думал, что их смерть — та же, что когда-нибудь постигнет и меня. Это потому, что у каждого из вас — собственная смерть, вы носите ее с собой в укромном месте со дня рождения, она принадлежит тебе, ты принадлежишь ей. Ну, а животные, а растения. Полагаю, с ними дело обстоит так же. То есть у каждого своя смерть. Именно. Стало быть, смертей — неисчислимое множество, столько же, сколько живых существ, которые жили, живут и будут жить. Можно и так сказать. Ты сам себе противоречишь, воскликнул ученик философа. Смерти каждого из вас — это смер-

ти. так сказать, второстепенные, зависимые от жизни. они кончаются вместе с тем, кого доканывают, а вот над ними есть высшая, главная смерть, та, что занимается всей совокупностью рода человеческого с момента его зарождения. Стало быть, существует некая иерархия. А как же. И у животных — от простейшего одноклеточного, звучно именуемого «протозоа», до голубого кита? И у них так же. И у растений — от микроорганизмов до гигантской секвойи, которую ты из уважения к ее размерам назвал полатыни. Насколько мне известно, подобное происходит с ними со всеми. То есть у каждого — смерть своя собственная, личная и передаче не подлежащая. Да. А кроме того, еще две всеобщие смерти, по одной на каждое царство природы. Совершенно верно. Ну, здесь-то хоть кончается это иерархическое распределение полномочий, делегируемых танатосом, спросил ученик философа. Там, куда дотягивается мое воображение, я вижу еще одну смерть — последнюю и верховную. Неужели. Да вот представь себе: ту, которая когда-нибудь постигнет вселенную и в самом деле заслужит имени «смерть», хотя, когда она случится, уже некому будет произнести это слово, ну а все прочее, о чем мы говорили, суть мелкие и незначительные детали. Из всего этого я делаю вывод, что смерть — не единственна, зачем-то подытожил ученик философа. Об этом я тебе столько времени и толкую. То есть одна смерть — наша — прекращает свою деятельность, а две прочие, относящиеся соответственно к флоре и к фауне, продолжают ее, причем независимо друг от друга, и у каждой — своя сфера, свой сектор. Ну что — я убедил тебя. Да. То-

гда ступай и оповести об этом всех, сказал дух, носящийся над водою аквариума.

Возражения, коими немедленно было встречено смелое предположение духа, носящегося над водой аквариума, заключались прежде всего в том, что его, так сказать, рупором был не дипломированный философ, а всего лишь подмастерье, нахватавшийся сведений мало того что начальных и элементарных — вроде этого самого протозоа, — но еще и, словно бы этого мало, отрывочных и разрозненных, с грехом пополам прилаженных, на соплях держащихся, на живую нитку сметанных, так что пестрые цвета их и лоскутные формы спорят друг с другом, образуя, короче говоря, философию, которую можно отнести к арлекинному течению или школе эклектики. Главное, впрочем, не в этом. Да, конечно, суть постулата сформулирована была духом, носящимся над водой аквариума, но достаточно перечесть диалог, разворачивавшийся на предшествующих страницах, чтобы признать: ученик философа внес в развитие любопытной этой идеи свой немалый вклад хотя бы в качестве слушателя, что еще с сократовских времен является, как всем хорошо известно, диалектически необходимым фактором. И одно, по крайней мере, отрицать нельзя: человеческие существа, в отличие от всех прочих отрядов, родов и видов фауны, не умирают. Что же касается флоры, то всякий и любой, даже не знающий ботаники, человек без труда признает, что растения, как и раньше, рождаются, зеленеют, увядают, сохнут, а если эту финальную фазу, сопровождаемую или не сопровождаемую гниением, нельзя назвать смертью, то пусть придет кто-нибудь и объяснит

получше. И то обстоятельство, что люди здесь не умирают, а вся прочая живая природа — да, кое-кто из оппонентов склонен был объяснять так, что, мол, нормальное еще не окончательно покинуло мир, а нормально — излишне говорить, но если уж говорить, то прямо и просто, — это помереть в свой час. Помереть, а не рассуждать о том, при рождении суждена нам смерть или так, вышла погулять и вдруг наткнулась на нас. В остальных странах люди продолжают умирать, и не скажешь, чтоб они очень уж горевали по этому поводу. Поначалу, разумеется, была и зависть, и заговоры, поймали одного-двух шпионов, присланных установить, в чем причина наших достижений, но в свете всего того, что вскорости на нас обрушилось, полагаем, что большинство жителей испытывает к нам чувства, сводящиеся к формуле: Хорошо, что не у нас.

Само собой разумеется, церковь для участия в дебатах села на своего конька — испытанного и боевого: пути господни были, есть и всегда пребудут неисповедимы, что в переводе на современный и слегка замаранный словесным безбожием язык значит, что нам не позволено подсматривать в замочную скважину небесных врат, чтобы узнать, что там внутри происходит. Еще говорила церковь, что временное, пусть и довольно длительное, приостановление природных явлений бывало и прежде, достаточно вспомнить бесконечные чудеса, которые бог допустил в последние двадцать столетий, и разница между теми и нынешними — разве лишь в масштабе, ибо если раньше благодать в награду за крепость веры осеняла отдельную личность, то теперь она снизошла на целую страну,

одарив, так сказать, эликсиром бессмертия всех ее граждан, и не только истинно верующих, которых по логике следовало бы особо выделить и отметить, но и атеистов, и агностиков, и еретиков, и язычников всех мастей, и приверженцев разных сект, и адептов иных религий, людей хороших и плохих и вовсе никуда не годных, безумных и разумных, палачей и жертв, светлых личностей и черных злодеев, полицейских и воров, кровопийц и доноров, словом, все, все без исключения сделались разом и свидетелями и получателями величайшего чуда, какое когда-либо бывало в истории чудес: вечная жизнь плоти отныне и навсегда соединилась с вечной жизнью души. Но церковные иерархи — от епископа и выше — не согласились с клириками среднего звена, обуянными жаждой чуда, о чем и поспешили заявить посредством послания к верующим, выдержанном в тонах категорических: упомянув, как и положено, о неисповедимости господних путей, послание весьма настойчиво повторяло мысль, экспромтом родившуюся у кардинала во время телефонного разговора с премьером еще в первые часы кризиса, когда, поставив себя на место папы и испросив у бога прощения за эту суетность, он предложил немедленно выдвинуть новую доктрину — доктрину отложенной смерти — и всецело положиться на благотворную и столько раз уже расхваленную мудрость времени, которая ненавязчиво объясняет, что задача, сегодня представляющаяся неразрешимой, завтра решится сама собой, а утро вечера мудренее. В письме к редактору своей любимой газеты некий читатель сообщал о готовности принять идею того, что смерть вздумала отложить самое себя на неопределенный

срок, но почтительно просил пояснить, как это стало известно церкви, а раз уж она так хорошо осведомлена, пусть сообщит, сколько отложение это продлится. Редакция напомнила читателю, что речь идет всего лишь о предположении, до сих пор ничем не подтвержденном, из чего имеющий уши должен был сделать такой вывод: церкви известно столько же, сколько и всем нам, то есть ровным счетом ничего. В это же время некто сочинил статью, требуя вернуть дискуссию в русло первоначального вопроса, а именно: смерть — одна или их много, то есть смерть она или смерти, и, раз взявши перо в руки, заявлял, что церковь занимает двусмысленную позицию, желая по своему обыкновению выиграть время, не беря на себя никаких обязательств, то есть лягушке лапку лубенит, с тем, чтобы притом и рыбку съесть, и на пальму влезть. Первое из этих фольклорных речений вызвало глубокое замешательство у журналистов, ничего подобного в жизни не слыхивавших и не читавших. Став в тупик перед этой загадкой, но подстрекаемые здоровым чувством профессионального самолюбия, они сняли с полок словари, которые иной раз помогали им в сочинении статей и заметок, и пустились в розыск упомянутого земноводного. Ничего, разумеется, не нашли, верней сказать, нашли лягушку, нашли лапку, а вот глагола «лубенить» не оказалось, отчего не удалось связать все три слова вместе и уяснить себе глубинный смысл, получающийся от этого соединения. Тут кто-то вспомнил про старика-вахтера, который давным-давно приехал из деревни в город, но до сих пор, всем на посмешище, говорил так, словно, у камелька сидючи, рассказывал внукам сказки. Спроси-

ли его, знает ли он эту поговорку, и услышали в ответ, что как же, мол, не знать, а на вопрос, понимает ли он ее смысл, — что, мол, чего тут не понять. Ну, так объясните, потребовал шеф-редактор. Залубенить, господа, это значит — наложить лубок, чтоб сломанные кости соединить. А при чем же тут лягушка. Очень даже при чем, ибо никому еще не удавалось взять в лубок лягушачью лапку. Почему? Потому что лапка у нее дергается постоянно. Что же все-таки это значит. Что есть дело, за которое и браться не сто́ит, все равно не выгорит. Но ведь наш читатель пишет, что, когда никак работу не доделают, а иной раз и специально тянут, волынят, так сказать, то тогда вот и говорят, что пошел, мол, лягушке лапку лубенить. То есть церковь в данном случае лягушке лапку лубенит. Именно так. То есть читатель наш прав. Полагаю, что прав, но ведь я — человек маленький, на дверях сижу. Благодарю вас, вы нам очень помогли. А там насчет рыбки и пальмы не надо объяснять. Нет, спасибо, это мы знаем, сами целыми днями только тем и занимаемся.

А полемика о множественности смертей, так славно начатая духом, носившимся над водой аквариума, обернулась бы полным фарсом, не появившись в газете статья одного экономиста. Хотя бухгалтерский учет в сфере социальной опеки не являлся его специальностью, экономист этот счел, что достаточно разбирается в предмете, чтобы публично и печатно воспросить, из каких, желательно было бы знать, средств намеревается правительство лет эдак через двадцать выплачивать пособия миллионам людей, которые выйдут на пенсии по старости, грозящей затянуться до скончания века, тем паче что ни ему, ни им скончать-

ся будет не суждено, и как быть с тем, что число их будет неумолимо возрастать в арифметической ли, в геометрической ли прогрессии, что гарантирует катастрофу, смятение, несусветный кавардак в государстве, оглашаемом воплями «спасайся, кто может», хотя не спасется никто. При виде такой ужасающей перспективы ничего не оставалось философам, как спрятать, по старинному присловию, гитары по мешкам, а церкви — вернуться к перебиранию своих четок в ожидании конца света, который, по их эсхатологическим упованиям, все расставит по своим местам. По поводу же тревожных выкладок экономиста заметим, что подсчеты эти были очень несложны, и если принять во внимание, что доля людей, имеющих право на пенсии по старости или инвалидности, будет неуклонно увеличиваться относительно дееспособного населения, а оно — постоянно и все более и более стремительно сокращаться, то остается лишь удивляться тому, что никто сразу не понял, что исчезновение смерти, поначалу казавшееся вершиной блаженства, пределом желаний и апогеем счастья, на самом деле не такая уж хорошая штука. Потребовалось, чтобы философы и прочие абстрактные мыслители окончательно заплутали в темном лесу своих собственных мудрствований — и лишь тогда здравый смысл, прозаически вооружась пером и бумагой, доказал, как дважды два четыре, что имеются предметы для рассмотрения гораздо более неотложные. Тех, кто осведомлен о темных сторонах человеческой природы, нисколько не удивило, что сразу после выхода пресловутой статьи отношение здоровой части населения к больной резко ухудшилось. До сих пор все, хотя и соглашались, что

протори велики и неудобства очевидны, пребывали в уверенности, что уважение к старым и слабым есть одна из первейших обязанностей цивилизованного общества, а потому, пусть порой и скрепя сердце, но все же не отказывали им в попечении и заботе и даже иногда в особых случаях угасивали их, прежде чем потушить свет, ложечкой нежности и любви. Да, конечно, находились, как все мы знаем, и такие жестокосердные семьи, которые, влекомые неизлечимой бесчеловечностью, опускались до заключения договоров с мафией, чтобы избавиться от жалкой человеческой рухляди, в нескончаемой агонии корчащейся на пропитанных потом, испачканных выделениями простынях, но самого строгого нашего порицания заслуживают эти семьи, подобные той, что фигурировала в старой-старой, сто раз рассказанной сказке про деревянную чашку и, к счастью, в самый последний момент спаслась от проклятия благодаря доброте восьмилетнего ребенка. Сейчас вкратце напомним суть для сведения новых поколений, с этой сказкой незнакомых, и в надежде, что они не сочтут ее наивной и сентиментальной. Ну, стало быть, слушайте внимательно, внимайте моральному поучению. Давным-давно в сказочной стране жила-была семья — мать с отцом, отца этого отец, то есть дедушка, и вышеупомянутый мальчуган восьми лет от роду. Дед был уже стар, руки у него дрожали, а потому, когда садились за стол, он не мог ложку до рта донести, не расплескав, к негодованию сына своего и снохи, которые его корили да бранили, но что же мог поделывать бедный старик, если руки и так-то ходуном ходят, а когда бранят — то еще пуще, так что вечно он пачкал скатерть или ронял

еду на пол, не говоря уж, что салфетку приходилось ему менять по три раза на дню — в завтрак, в обед и в ужин. Так оно все и шло, не суля ни малейшей перемены к лучшему, пока сын не решил покончить с этим неприятным положением дел. Принес он деревянную чашку и сказал отцу: Отныне будешь из нее есть, а сидеть — у порога, потому что там легче отмывать, и снохе твоей не придется без конца стирать скатерти да салфетки. И стало по слову его. Трижды в день усаживался старик на пороге и ел по мере силы-возможности: половина терялась по пути от миски ко рту, часть другой половины текла по подбородку, так что немного попадало в то место, которое в народе называют суповой дорогой. Внуку вроде бы не было особого дела до того, как безобразно его отец и мать обращаются с дедом: поглядывал на него, потом — на родителей и продолжал кушать, как ни в чем не бывало. Но вот однажды, вернувшись под вечер с работы, увидел отец, что мальчуган строгаёт ножом кусок деревяшки, и подумал — это было в порядке вещей в те далекие времена — что он мастерит себе какую-то игрушку. На следующий день, однако, заметил он, что поделка эта мало напоминает колясочку — по крайней мере, непонятно, куда колеса прикреплять — и спросил: Что это ты делаешь. Мальчик притворился, будто не слышит, и все ковырял деревяшку острием ножа: напоминаю вам, это происходило в те времена, когда родители еще не были столь пугливы, как сейчас, и не спешили вырвать из рук детей столь полезный для изготовления игрушек инструмент. Оглох, что ли, сказал отец, я спрашиваю, что ты делаешь, — и мальчик, не поднимая склоненной над работой головы, ответил:

Чашку делаю — чтоб как состаритесь вы, отец, как начнут у вас руки трястись, было из чего вам есть, сидя на пороге. От святых этих слов спала пелена с глаз отца, воссиял ему свет истины, и немедля пошел он просить прощения у старика, а когда настал час ужина, своими руками помог главе рода сесть на стул у стола, своими руками начал кормить его с ложки, своими руками бережно утирать ему губы и подбородок салфеткой, потому что еще в силах был это делать, а возлюбленный его отец — уже нет. О том, что там дальше было, история умалчивает, но непреложнейшим знанием знаем мы: если правда, что работа мальчика прервалась на середине, оставшись недоделанной, значит, правда и то, что деревяшка эта пребывает где-то здесь. Никто не сжег ее, не выбросил на помойку — то ли затем, чтобы не позабылся этот урок, то ли потому, что кому-нибудь когда-нибудь еще придет в голову идея завершить работу, и нет в этом ничего невозможного, если принять в расчет, сколь невероятной живучестью обладают помянутые выше темные стороны человеческой души. Как сказал кто-то, все, имеющее случиться, случится, тут всего лишь вопрос времени, и если мы пока еще не увидели это, проходя земным путем, то, значит, еще недостаточно прожили на свете. Чтоб не обвинили нас в том, что мы берем краски только с левой стороны палитры, придется допустить, что телеверсия этой приятной сказки, сумевшая смахнуть густую паутину в пыльных закромах и сусеках коллективной памяти, немало способствовала тому, что в изнуренное сознание семей стали возвращаться нетленные и невещественные духовные ценности, культивировавшиеся обществом прежде, в ту

пору, когда низкий материализм, ныне возобладавший, еще не вполне овладел волей, которая тогда считалась сильной, а на поверку оказалась верным снимком мучительной душевной слабости. Так что отчаиваться не следует. Будем уповать, что когда мальчуган с деревяшкой возникнет на экране, половина страны полезет за платком, чтобы утереть слезы, а другая половина, одаренная, наверно, стоическим темпераментом, позволит им, слезам то есть, катиться по щекам в доказательство того, что раскаянье в дурном поступке, совершенном или хотя бы замышленном, — не звук пустой. Даст бог, еще поспеем спасти наших стариков.

Приверженцы республики, демонстрируя полное и прискорбное непонимание, что своевременно и уместно, а что — нет, неожиданно решили воспользоваться деликатным моментом и заявить о себе в полный голос. Были они немногочисленны и в парламенте не представлены, хоть в свое время сумели сорганизоваться в политическую партию и регулярно участвовали в выборах. Гордились тем, что имеют влияние в артистических и литературных кругах, где время от времени появлялись их манифесты — довольно звонкие, но совершенно безобидные. С того времени, как смерть взяла паузу, республиканцы не подавали признаков жизни, хотя оппозиции, именующей себя непримиримой или системной, сам бог велел хотя бы потребовать ясности в вопросах предполагаемого участия маффии в вывозе неизлечимо больных за кордон. А теперь, пользуясь смятением, в котором пребывала страна, метавшаяся между суетным желанием повыпендриваться перед всем белым светом и стыд-

ливым опасением оказаться не такой, как все, вдруг взяли да поставили вопрос о смене строя — ни больше, ни меньше. И, разумеется, противники монархии, враги престола как такового были уверены, что нашли сокрушительный довод в пользу немедленного установления республики. Они утверждали, что вопиющим попранием самой обиденной логики будет иметь во главе государства короля, который никогда не умрет и если даже завтра решит отречься от престола по старости или слабоумию, все равно останется королем — первым в бесконечной цепи инаугураций и отречений, в нескончаемой череде государей, лежащих в своих опочивальнях в ожидании ненаступающей смерти, в вечной веренице полуживых-полумертвых монархов — чтобы не загромождали собой дворцовые коридоры, их придется складировать в пантеонах рядом с благополучно почившими предшественниками, ныне ставшими либо россыпью костей, либо дурно пахнущими мумиями. Насколько же разумней избирать на строго определенное время президента республики, который будет занимать свой пост от силы два срока, а потом, отправив свое, — отправляться в частную жизнь: читать лекции, писать книги, ездить по конгрессам и симпозиумам, выступать на круглых столах, колесить вокруг света в восемьдесят приемов, высказываться о длине юбок, когда те вновь вернутся в обиход, или об озоновой дыре в атмосфере, если к тому времени еще будет атмосфера, да и вообще не пропадет. А нам не придется изо дня в день читать в газетах, видеть по телевизору, слышать по радио сообщения придворной медсанчасти о стабильно тяжелом состоянии пациентов дворцовых больниц, которые,

заметим кстати, после двух последовательных расширений будут нуждаться в третьем увеличении койко-мест. Множественное число употреблено здесь ради того, чтобы указать, что, как водится в любом стационарном лечебном учреждении, женщины помещаются отдельно от мужчин, то есть короли и принцы — тут, а королевы с принцессами — там. Республиканцы принялись подзуживать народ, убеждая его взять полномочия на себя, а свою судьбу — в собственные руки, и грудью проложить себе дорогу к новой счастливой жизни, двинувшись, так сказать, заре навстречу. Подействовал ли этот смелый и удачно найденный образ или еще что, но манифест всколыхнул сердца уже не одних лишь художников с литераторами — и другие социальные слои и сословия не остались глухи к призыву, так что у партии оказалось неожиданно значительное число новых сторонников, готовых пуститься в путь, который, подобно тому, как рыбу в реке уже можно назвать уловом, признан был историческим, хоть пока и неизвестно, так ли это на самом деле. Как ни прискорбно, в последовавшие за этим дни гражданское воодушевление, обуявшее новых приверженцев республики, порой далеко выходило за рамки, предписываемые простой учтивостью и нормами демократической терпимости, отливаясь в форму самой что ни на есть грубой брани. Все, кому еще не отказал хороший вкус, единодушно сходились на том, что слова «трутни», «спиногрызы» и «захребетники», употребленные по адресу августейших особ, не только недопустимы, но и непростительны. Вполне можно было бы сказать, что, мол, казна не в силах больше выдерживать постоянный рост расходов на содержа-

ние двора, и все бы все поняли. И правда, и необходимо. А то пишут черт знает что.

Яростная атака республиканцев, а еще больше — тревожные выкладки, приведенные в статье, посвященной тому печальному факту, что в самом скором времени пресловутая казна не сможет выплачивать пенсии по старости и инвалидности, побудили короля уведомить своего первого министра, что желает поговорить с ним — откровенно и с глазу на глаз, без протокола и каких бы то ни было свидетелей. И премьер явился, и осведомился о здоровье его величества и его царственных домочадцев — особенно королевы-матери, которая на исходе года готова была испустить последний вздох, а теперь, подобно многим-многим другим, совершает таковых тринадцать в минуту, хотя прочих признаков жизни, распростершись под балдахином своей опочивальни, почти не подает. Его величество, поблагодарив, ответил, что королева-мать несет своей крест с достоинством, подобающим благородной крови, еще струящейся в ее жилах, а затем перешел непосредственно к предмету разговора, первым пунктом которого стал выход республиканцев на тропу войны. Не понимаю, молвил он, что взбрело в голову этим людям: держава переживает тяжелейший кризис, какого не бывало за всю ее многовековую историю, а они толкуют об изменении строя. Я, государь, не склонен тревожиться по этому поводу: они всего лишь пытаются использовать благоприятный момент, чтобы придать больше весу своим так называемым предложениям, а проще говоря, хотят половить рыбку в мутной воде. И притом — с прискорбным отсутствием патриотизма. Именно так,

государь, воззрения республиканцев на государственное устройство только они сами и могут понять, да и то вряд ли. Воззрения их меня не интересуют, я хочу услышать от вас, существует ли возможность смены строя. Они ведь даже не представлены в парламенте, ваше величество. Я имею в виду государственный переворот — революцию. Это решительно невозможно, ваше величество: народ сплочен вокруг престола, вооруженные силы верны законной власти. Стало быть, я могу быть спокоен. Полностью, ваше величество. Король поставил крестик напротив слова «республиканцы», сказал: Так, с этим разобрались, — и перешел к следующему пункту: Ну а что за история с пенсиями, которые не выплачиваются. Нет-нет, выплачивается, другое дело, что будущее рисуется в довольно черном свете. Стало быть, я не понял и подумал было, будто мы приостановили выплаты. Нет-нет, государь, но завтрашний день внушает опасения. В чем. Во всем, ваше величество, государство может развалиться, как картонный домик. И что же — только мы, мы одни сталкиваемся с этой проблемой. Нет, ваше величество, рано или поздно она затронет всех, разница тут между, извините за банальность, жизнью и смертью. Не понимаю. В других странах люди умирают прежним и обычным порядком, и смертность контролирует уровень рождаемости, а вот у нас, ваше величество, в нашем государстве никто не умирает, вспомните вашу августейшую матушку, казалось, что она — при смерти, ан нет, не тут-то было, и, конечно, это большое счастье, но у нас — петля на шее, ваше величество, не считите за преувеличение. Но до меня доходят слухи, будто кто-то все же умер. Это и в самом деле так,

однако, государь, это — капля в море: далеко не все семьи решаются на подобный шаг. Какой шаг. Передать своих безнадежно больных заботам организации, которая занимается самоубийствами. Не понимаю, что толку совершать самоубийство, если все равно они не могут умереть. Эти — могут. И как же им это удастся. Дело довольно сложное. Расскажите, нас никто не слышит. По ту сторону границы смерть работает бесперебойно. То есть эта организация вывозит больных за кордон. Совершенно верно. Стало быть, это благотворительная организация. Она помогает нам справляться с переизбытком безнадежных больных, но, как я уже сказал, это — капля в море. И что же это за организация. Премьер набрал побольше воздуха и ответил: Маффия, ваше величество. Маффия. Да, ваше величество, маффия, ибо государству иной раз приходится обращаться к тем, кто выполнит за него грязную работу. Вы мне раньше ничего не говорили. Виноват, ваше величество, не хотел бросать тень на ваше имя. А войска, размещенные вдоль границ. У них — своя роль. Какая же. Изображать, что служат препоной для вывоза больных, на самом деле таковой не являясь. А я думал, они готовятся отразить вторжение. Такой опасности нет и никогда не было, мы договорились с правительствами сопредельных государств, все под контролем. Все, кроме пенсий. Все, кроме смерти, ваше величество, ибо если мы не начнем умирать, то лишимся будущего. Король поставил крестик напротив слова «пенсии» и сказал: Нужно, чтобы что-нибудь случилось. Да, ваше величество, чтобы что-нибудь случилось.

СЕКРЕТАРША, ВОЙДЯ В КАБИНЕТ генерального директора телеканала, обнаружила на столе конверт. Необычного лилового цвета, плотной шероховатой бумаги, имитирующей фактуру ткани. Старинного вида и словно бы уже побывавший в употреблении. И не значилось на нем ни адреса отправителя, что, впрочем, иногда случается, ни адреса получателя, чего не бывает никогда, и лежал он на столе в запертом на ключ и открытом минуту назад кабинете, куда ночью никто не мог войти. Повертев конверт в руках и удостоверившись, что и на оборотной его стороне нет ни слова, секретарша почувствовала, что думает, сознавая полнейшую абсурдность и чувства этого, и самой думы, что в тот момент, когда она вставляла ключ в замочную скважину и поворачивала его там, конверта на столе еще не было. Что за чушь такая, пробормотала она, должно быть, вчера я его просто не заметила. Потом обвела глазами кабинет, убедилась, что все на месте, и удалилась к себе. В качестве доверенной секретарши она могла бы воспользоваться своим правом и вскрыть этот или любой другой конверт, тем более что на нем не было строгих предуведомлений вроде «конфиденциально», «в собственные руки»,

«лично», однако делать этого не стала, причем сама не смогла бы сказать, почему. Дважды она вставала со своего рабочего кресла и приоткрывала дверь в кабинет. Конверт лежал на прежнем месте. Так и спятить недолго, подумала она, хоть бы уж пришел наконец и разобрался, что к чему. Имелся в виду ее шеф, генеральный директор телеканала, в этот день почему-то задерживавшийся. В четверть одиннадцатого он наконец появился. Будучи человеком немногословным, поздоровался и немедленно прошел к себе в кабинет, куда ей полагалось входить лишь пять минут спустя — предполагалось, что за это время он успеет снять пиджак и закурить первую за день сигарету. Но когда через пять минут секретарша переступила порог, директор был по-прежнему в пиджаке и не курил. Обеими руками он держал лист бумаги такого же цвета, как конверт, и руки его дрожали. Обернулся к вошедшей, но словно бы не узнал ее. Потом ладонью вперед вытянул руку, как бы преграждая ей путь, и — вот уж точно — не своим голосом произнес: Выйдите сейчас же, дверь закройте и никого ко мне не пускать, вам ясно — никого, кто бы ни был. Обескураженная секретарша хотела было спросить, что случилось, но он не дал ей рта раскрыть яростным: Вы что — оглохли, — и сорвался на крик: Выйдите, я сказал, вон отсюда. Бедная женщина ретировалась со слезами на глазах, ибо не привыкла, чтобы с нею так разговаривали: у генерального, как у каждого из нас, есть свои недостатки, но в сущности он — человек воспитанный и раньше не имел привычки орать на секретарш. Не иначе, как там что-нибудь такое в письме, думала она, отыскивая платок, чтобы вытереть слезы. И не ошиб-

лась. Если бы ей хватило смелости вновь заглянуть в кабинет, она увидела бы, как ее шеф в полнейшей растерянности мечется из угла в угол, являя собою образ человека, который не знает, что делать, но ясно сознает, что, кроме него, сделать это больше никому. Вот он взглянул на часы, потом — на листок, пробормотал чуть слышно, словно по секрету: Еще есть время, еще есть время, — потом опустил в кресло и перечел таинственное письмо и при этом машинально поглаживал себя ладонью по макушке, как бы желая удостовериться, что голова еще на плечах, а не потеряна от страха, сводившего ему все нутро. Дочитал, уставился невидящими глазами в пространство, подумал: Я должен поговорить с кем-нибудь, — а потом ухватился за спасительную мысль о том, что все это, быть может, всего лишь шутка, дурного вкуса и тона шутка какого-нибудь раздосадованного телезрителя, наделенного вдобавок язвительным воображением — ответственному ли руководителю канала не знать, что не все в его департаменте гладко: Но обычно, когда хотят излить злобу, пишут не мне. И эта мысль, естественно, побудила его нажать клавишу селектора и спросить — давно уже надо было это сделать, — кто принес письмо. Не знаю, господин директор, когда я пришла и, как всегда, отперла дверь вашего кабинета, письмо уже лежало на столе. Но ведь это невозможно, ночью сюда никто не мог войти. Тем не менее это так. Как вы можете это объяснить. Меня не спрашивайте, господин директор, я попыталась рассказать, как было дело, но вы мне рта не дали раскрыть. Признаюсь, что был излишне резок, извините. Ничего, господин директор, но мне было очень больно. Сказал

бы я вам, что содержится в этом письме — узнали бы тогда, что такое «больно», вновь вспылал директор. И дал отбой. Вновь взглянул на часы и сказал себе: Это — единственный выход, другого не вижу, такие решения — не в моей компетенции. Открыл справочник, нашел нужный номер, набрал, и большого, надо сказать, труда стоило унять дрожь в руках и еще большего — чтобы в ответ на: Слушаю, — недрогнувшим голосом произнести: Говорит директор телеканала, генеральный директор, пожалуйста, соедините меня с премьер-министром. Здравствуйте, это начальник секретариата, рад вас слышать, чем могу быть полезен. Передайте господину премьеру, что я прошу как можно скорее принять меня по важнейшему и безотлагательному делу. Не могли бы вы сообщить мне, в чем оно заключается, чтобы я изложил его господину премьер-министру. Очень сожалею, но это невозможно: дело не только чрезвычайной спешности и серьезности, но и сугубой секретности. Ну, хотя бы в самых общих чертах. Извольте: в моем распоряжении, перед моими глазами, которые когда-нибудь закроются навсегда, имеется документ государственной важности, и если этого недостаточно, чтобы вы незамедлительно доложили обо мне премьер-министру, где бы он ни находился, то я очень опасаюсь за вашу будущность — и в личном плане, и в политическом. Неужели до того серьезно. Скажу вам лишь одно — вы понесете суровую ответственность за каждый миг промедления. Что ж, я постараюсь, но господин премьер-министр очень загружен. Так разгрузите его, если хотите получить награду. Иду. Жду. Позвольте последний вопрос. Ну, что же вам еще. Почему вы упомянули глаза, которые

когда-нибудь закроются навсегда, ведь это раньше так было. Не знаю, кем вы были раньше, а ныне сделали круглым идиотом, немедленно соедините меня с премьером. Оскорбительная резкость высказывания показывала, до какой степени взвинчен генеральный директор и сколь сильно смятен его дух. Прямо по-мрачение нашло — он сам не понимает, как можно было обидеть человека всего лишь за абсолютно законный вопрос. Надо будет извиниться, с раскаяньем думает генеральный, завтра он может понадобится. Голос премьера в телефонной трубке звучал нетерпеливо: Ну, в чем дело, спросил он, проблемы телевидения — не в моей компетенции. Тут дело не в телевидении, господин премьер-министр, дело в том, что я получил письмо. Да мне уж доложили, что у вас какое-то письмо, ну так что же я должен делать. Прочитать его — и больше ничего, все прочее, как вы изволили выразиться, — не в моей компетенции. Вы, я вижу, сильно взволнованы. Взволнован — это не то слово. Ну, и что же говорится в этом вашем таинственном письме. По телефону сказать не могу. Линия защищена от прослушивания. И тем не менее — не могу, тут любых предосторожностей мало. Ну пришлите с курьером. Нельзя, я должен передать вам его из рук в руки. Давайте я сам отправлю за ним кого-нибудь — вот хоть начальника моего аппарата, например, он пользуется моим полным доверием. Господин премьер-министр, поверьте, я не стал бы вас беспокоить, если бы не крайняя нужда, мне абсолютно необходимо, чтобы вы меня приняли. Когда. Немедленно. Я занят. Умоляю вас. Ну, хорошо, раз уж вы так настаиваете, приезжайте, надеюсь, ваша тайна меня не разочарует. Ге-

неральный положил трубку на рычаг, письмо — в конверт, конверт — во внутренний карман пиджака и поднялся. Руки уже перестали дрожать, но на лбу выступила обильная испарина. Утер лицо платком, по внутреннему телефону велел секретарше вызвать машину — он выходит. Мысль о том, что ответственность будет переложена на другого человека, а собственная его роль через полчаса — отыграна, несколько успокаивала его. Автомобиль ждет, сказала появившаяся в дверях секретарша. Спасибо, сказать, надолго ли уезжаю, не могу, у меня встреча с премьером, но об этом никто не должен знать. Не беспокойтесь, господин директор, я буду нема как могила. До свиданья. До свиданья, дай бог, чтобы все прошло хорошо. Дела обстоят таким образом, что уже нельзя понять, что хорошо, а что — нет. Вы правы. А кстати, как ваш отец. Все по-прежнему, господин директор, страдать-то он вроде бы не страдает, но тает на глазах, два месяца в таком положении, ну а теперь-то только и остается ждать, когда меня положат рядом. Как знать, как знать, и с этими словами генеральный директор покинул кабинет.

Начальник секретариата встретил его у дверей, поздоровался подчеркнуто сухо и сказал: Я провожу вас к господину премьер-министру. Одну минуту, прежде всего я хочу извиниться, если кто и вел себя в нашем разговоре как круглый идиот, то не вы, а я. Вероятней всего, не вы и не я, улыбнулся тот. Если бы вы только знали, что у меня в кармане, то поняли бы мое состояние. Не беспокойтесь: в части, касающейся меня, ваши извинения приняты. Благодарю вас, в любом случае через несколько часов эта бомба рванет.

Надеюсь, гроыхнет не слишком сильно. Громче громов, ослепительней всех молний, вместе взятых. Вы меня сбили с толку. Уверен, что буду прощен и за это. Ну пойдете, премьер вас ждет. Они прошли комнату, которая в былые времена называлась, наверно, передней, и через минуту директор предстал перед очами улыбающегося премьер-министра: Что ж, поглядим, что за вопрос жизни и смерти привел вас ко мне. Поверьте, никогда еще ваши уста не изрекали истины более неоспоримой. Генеральный извлек из кармана письмо и положил его на стол. Получатель не указан, удивился премьер. Ни получатель, ни отправитель, такое впечатление, будто это письмо адресовано нам всем. Анонимное. Нет, оно подписано, однако, ради бога, прочтите, прочтите. Конверт был неторопливо вскрыт, листок — извлечен, но, окинув глазами первые же строчки, премьер вскинул голову: Это что — шутка. И в самом деле напоминает шутку, но я так не считаю: письмо оказалось у меня на столе, и никто не может сказать, как оно туда попало. Не думаю, что это — достаточное основание верить тому, что там написано. Читайте, читайте дальше. Дойдя до конца послания, премьер, медленно шевеля губами, беззвучно вымолвил слово, а верней — имя, которым оно было подписано. Положил листок на стол, пристально взглянул на генерального и сказал: Ну предположим, это шутка. Нет, не шутка. Я тоже так думаю, а говоря «предположим», имею в виду, что в скором времени мы все узнаем точно. Через двенадцать часов, ибо сейчас ровно полдень. Если обещанное в письме случится и если мы не успеем предупредить граждан, произойдет то же, что и в новогоднюю ночь, но только —

наоборот. Даже если успеем предупредить, эффект будет такой же. Обратный. Обратный, но такой же. Совершенно верно, а если мы их предупредим, а потом выяснится, что это — розыгрыш, люди напрасно пострадают, хотя, конечно, еще большой вопрос, пострадают ли и напрасно ли пострадают. Но ведь вы сами сказали, что не верите в то, что это — шутка. Нет, не верю. Так как же нам поступить — предупреждать или нет. В том-то и вопрос, мой дорогой генеральный директор, и он должен быть обдуман и осмыслен все-сторонне. Вам решать, господин премьер-министр. Да уж, конечно мне: я могу даже разорвать это письмо на тысячу клочков и подождать, что будет. Не верю, что вы так поступите. И правильно делаете, а поскольку надо принимать решение, мало просто сказать, что население должно быть предупреждено, — надо еще знать, каким образом. Для этого, господин премьер-министр, и существуют средства массовой информации — у нас есть газеты, радио, телевидение. И по вашему мнению, следует обнародовать это письмо, присовокупив к нему заявление правительства с призывом к спокойствию и кое-какими советами насчет того, как вести себя в возникших чрезвычайных обстоятельствах. Вы сформулировали идею гораздо лучше, чем это сделал бы я. Благодарю за лестный отзыв, но теперь прошу вас поднапрячься и представить себе, что произойдет, если мы будем действовать таким образом. Не понимаю. Я ждал большего от генерального директора национальной телекомпании. Если так, мне очень жаль, что оказался не на должной высоте. Да нет же, просто вы малость ошарашены свалившейся на вас ответственностью. А вы — нет. И

я тоже, но ошарашен — не значит оцепенел. Тем лучше для страны. Еще раз благодарю вас, нам с вами не часто приходилось беседовать, обычно я разговариваю о телевидении с министром социального обеспечения, но теперь я пришел к выводу, что настало время сделать вас фигурой общенационального масштаба. Вот теперь, господин премьер, я и вовсе ничего не понимаю. Все очень просто, а дело останется между нами, строго между нами, до девяти вечера, когда очередной выпуск новостей откроется правительственным заявлением, где будет рассказано о том, что случится в полночь, и — зачитаны выдержки из этого самого письма, а сделает это генеральный директор канала, во-первых, потому, что он, хоть не адресат, так получатель, а во-вторых, вы — человек, которому я доверяю и поручаю довести до конца миссию, выпавшую нам с вами на долю по воле, пусть и невысказанной прямо, дамы, подписавшей это письмо. Диктор справился бы лучше. Нужен не диктор, а директор и притом — генеральный. Ну, если таково ваше желание, почту за честь выполнить его. Только вы да я знаем, что произойдет сегодня в полночь, и будем хранить эту тайну до того часа, когда страна получит эту информацию, если же согласиться на ваше предложение и предать ее огласке немедленно, то нам грозят двенадцать часов смятения, паники, массового психоза и бог знает чего еще, а потому, раз уж нам — я имею в виду власти — не дано избежать всех этих неприятных последствий, то следует хотя бы сократить срок до трех часов, и дальнейшее уже никак от нас не зависит: будут слезы, отчаянье, плохо скрытое облегчение и прочее. Что ж, мне кажется, это удачная

мысль. Тем более что ничего другого в голову не приходит. Премьер снова взял листок, скользнул по нему глазами, не читая, и сказал так: Забавно, первая буква подписи должна быть заглавной, а тут — строчная. Я сам удивился: писать имя с маленькой — странно. Скажите лучше, есть ли вообще что-нибудь не странное во всей этой истории. Нету. А кстати, вы сможете сделать фотокопию. Я не специалист, но раза два делал. Превосходно. Премьер спрятал листок и конверт в папку с документами, вызвал начальника секретариата и приказал немедленно очистить от посторонних комнату, где стоит копировальный аппарат. Но ведь там сидят сотрудники. Пусть перейдут в другие кабинеты, подождут в коридоре или покурят на лестнице, нам нужно не больше трех минут, не так ли. Даже меньше. Я бы мог снять копию так, что никто из посторонних не заметил бы, если дело в этом, предложил начальник. Дело действительно в этом, но на сей раз займусь им лично я, при технической, так сказать, поддержке генерального директора, здесь присутствующего. Слушаюсь, господин премьер-министр, сейчас же распоряжусь, чтобы все покинули помещение, где стоит аппарат. Начальник вернулся через минуту и доложил, что комната пуста: Я с вашего разрешения буду у себя в кабинете. Рад, что мне не пришлось просить вас об этом, и, пожалуйста, не сочтите за недоверие всю эту таинственность, вы сегодня же узнаете причину стольких предосторожностей, причем — не от меня. Разумеется, господин премьер-министр, я никогда не позволил бы себе усомниться в основательности причин, побуждающих вас к скрытности. Когда начальник секретариата удалился, премьер

взял папку и сказал: Пойдемте. Комната и в самом деле была пуста. Минуты не прошло, как копия была готова — буква в букву, слово в слово, и все же это было не то же самое: утерев свою тревожную лиловатость, превратилось оно в послание банальное и заурядное и словно бы содержало в себе пожелания успеха в работе и большого счастья в личной жизни. Премьер протянул копию директору: Возьмите, а оригинал останется у меня. А заявление правительства. Присядьте, я его накатаю в одно мгновенье, это очень просто: дорогие соотечественники, правительство страны считает своим долгом сообщить вам о полученном сегодня письме, о документе, значение и важность которого переоценить нельзя, и, хотя в настоящее время мы и не имеем возможности гарантировать его подлинность, допускаем все же, до поры не раскрывая вам его содержание, возможность того, что возвещенное им не произойдет, а потому во имя того, чтобы наш народ не был захвачен врасплох в ситуации, чреватой напряженностью и более чем вероятными кризисами разнообразного характера, намереваемся без промедления предать вышеупомянутое письмо гласности, чем по поручению правительства займется генеральный директор национального телеканала, и в заключение еще несколько слов: нет необходимости заверять вас, дорогие наши сограждане, что правительство останется на страже интересов народа, которому, быть может, суждено пережить самые трудные часы с той поры, как он осознал себя таковым и обрел свою государственность, а потому мы призываем вас всех соблюдать спокойствие и выдержку, высокие образцы которых вы проявляли в ходе череды

испытаний, выпавших на нашу долю в начале года, и вместе с тем выражаем уверенность, что благоприятное развитие событий вернет нам столь заслуживаемые нами мир и счастье, которые мы вкушали прежде, а также хотели бы напомнить вам, что наша сила — в единстве, вот наш девиз, сплотимся — и грядущее будет принадлежать нам, готово, как видите, это минутное дело, правительственные заявления не требуют игры воображения, можно даже сказать, что сочиняются они сами собой, перепишите это, сделайте копию, держите вместе с письмом при себе до девяти часов, и смотрите, чтобы эти бумажки ни на миг не разлучались. Будьте покойны, господин премьер-министр, я полностью сознаю свою ответственность и уверен, что не подведу. Ну и прекрасно, больше вас не задерживаю. Позвольте, прежде чем уйти, задать вам еще два вопроса. Прошу. Вы только что сказали, что до девяти вечера только два человека будут знать суть дела. Ну да, вы да я, и никто больше, даже из правительства. А король, не сочтите за, извините, что лезу не в свое дело. Его величество все узнает в свое время, как и все прочие, в том случае, конечно, если смотрит телевизор. Полагаю, он будет не в восторге от того, что его не уведомили раньше. Не тревожьтесь, первейшая добродетель монарха — само собой, я имею в виду монарха конституционного — это высочайшая степень понятливости. А-а. Ну-с, каков же второй вопрос. Да это не вполне вопрос. И все же. Меня, понимаете ли, очень удивляет ваше хладнокровие, господин премьер-министр, ведь то, что случится со страной в полночь, — это катастрофа, катаклизм, какого еще не бывало, едва ли не конец света, а, гля-

дя на вас, можно подумать, вы заняты рутинными делами, спокойно отдаете распоряжения, а недавно мне даже показалось — вы улыбнулись. Я уверен, дорогой мой и генеральный директор, что и вы бы заулыбались, узнав, от какого невероятного количества проблем избавляет меня это письмецо, они решатся сами собой, без малейшего моего вмешательства, а теперь позвольте мне вернуться к работе, надо предупредить министра внутренних дел, чтобы полиция была начеку, а для этого следует изобрести какой-нибудь предлог — ну, скажем, попытка насильственного свержения существующего строя — наш главный правоохранитель, к счастью, не из тех, кто теряет время на раздумья: он предпочитает действовать, хотите осчастливить его — дайте ему задание. Господин премьер-министр, позвольте заверить вас, что я считаю высокой честью оказаться в эти судьбоносные часы рядом с вами. Приятно слышать такое, но можете быть совершенно уверены, что перемените свое мнение, если хоть одно слово — безразлично, мое или ваше — из тех, что прозвучали в этом кабинете, выйдет за пределы его стен. Понимаю. Как конституционный монарх. Да, господин премьер-министр.

В половине девятого генеральный директор вызвал к себе редактора новостной программы и сообщил ему, что сегодняшний выпуск откроется правительственным заявлением, которое, как всегда, будет читать диктор, а уж после этого он сам, генеральный, огласит в виде дополнения некий документ. Если все это показалось выпускающему чем-то необычным, ненормальным и странным, то виду он не подал, а лишь попросил вручить ему оба документа с тем, что-

бы можно было прокатить их через телесуфлер — хитроумное устройство, позволяющее создать видимость того, что человек с экрана обращается прямо и непосредственно к каждому из зрителей персонально. Генеральный ответил на это, что в данном случае телесуфлер использован быть не может: Читать будем по старинке, сказал он и добавил, что войдет в студию ровно без пяти девять и передаст заявление диктору, который должен быть проинструктирован, что открыть папку с этим документом сможет лишь перед самым началом чтения. Выпускающий счел, что теперь настало время выказать хоть какую-нибудь заинтересованность, и спросил: Неужели — так важно. Через полчаса узнаете. Так, ну а государственный флаг надо будет укрепить за вашим креслом. Нет-нет, никаких флагов, я же не глава кабинета и даже не министр. И не король, льстиво подхватил выпускающий, тоном своим давая понять, что: нет, как раз король — король отечественного телевидения. Генеральный пропустил это мимо ушей: Можете идти, через двадцать минут я буду в студии. Мы не успеем наложить грим. И не надо: чтение будет недолгим, а зрителям, уверяю вас, найдется о чем подумать помимо того, напудрили меня или нет. Как скажете. Но в любом случае скажите операторам, чтобы правильно поставили свет: не хотелось бы предстать на экране ожившим мертвецом — и сегодня меньше, чем когда бы то ни было еще. И в двадцать пятьдесят пять директор вошел в студию, передал диктору папку и сел на предназначенное ему место. Весть о том, что готовится нечто из ряда вон, вмиг облетела телецентр, и потому в аппаратную набилось гораздо больше народу, чем

обычно. Режиссер установил тишину. Ровно в двадцать один под характерную музыку на экране появилась заставка, предвещающая выпуск новостей, — стремительная череда кадров, призванная внушить зрителям, что этот круглосуточный телеканал, как древле — божество, пребывает одновременно повсюду и отовсюду шлет вести. В тот самый миг, когда диктор дочитал правительственное сообщение, режиссер переключил изображение на камеру номер два, и на экране возник генеральный директор. Было видно, что он сильно волнуется, и слышно, что в горле у него — комок. Прокашлявшись, чтобы прочистить голос, он начал читать: Глубокоуважаемый господин директор, настоящим довожу до сведения всех заинтересованных лиц, что сегодня с нуля часов люди вновь будут умирать, как это велось без сколько-нибудь заметных возражений от начала времен до тридцать первого декабря прошлого года, и считаю нужным объяснить, что, приостановив на время свою деятельность, отложив в сторонку тот эмблематический сельскохозяйственный инструмент, что был мне в давние дни вложен в руку неумным воображением живописцев и гравиров, я ставила своей целью показать роду человеческому, столь ненавидящему меня, что́ значит — жить всегда, то есть вечно, хотя скажу вам по секрету, глубокоуважаемый господин директор, разница между двумя этими определениями мне неведома, и, по моему разумению, они означают совершенно одно и то же, а по истечении шестимесячного срока, с полным правом заслуживающего названия «испытательный», и приняв во внимание плачевные результаты этого эксперимента, как с точки зрения морали, то есть в

аспекте философском, так и с точки зрения прагматики, то есть в аспекте социальном, я сочла за благо для семей и для общества во всей его совокупности признаться публично в совершенной мною ошибке и объявить о немедленном возвращении к нормальной, бесперебойной деятельности, а это будет значить для всех тех, кто должен был бы умереть, но продолжает, даже лишась здоровья, свое пребывание на этом свете, что свеча их жизни погаснет в тот самый миг, как стихнет в воздухе последний удар колокола, возвещающий полночь, причем слово «колокол» употреблено здесь исключительно в смысле символическом, поскольку, я надеюсь, никому не придет в голову идиотская идея подвязывать язык церковному колоколу или портить механизм курантов в рассуждении таким способом задержать ход времени и воспрепятствовать моему твердому намерению, каковое заключается в возвращении высшего страха в сердца людей — большая часть тех, кто толпился в студии и аппаратной, уже выметнулись оттуда, а оставшиеся тихо переговаривались друг с другом, создавая слитный гул, прекратить который режиссер, сам пораженный до глубины души, позабыл, хотя имелось у него некое яростное движение руки, унимавшее любой шум в иных, менее драматических обстоятельствах — а потому смиритесь и мрите без возражений и споров, ибо ни к чему они не приведут и ничем не помогут, однако же есть пункт, где я считаю себя обязанной повиниться: речь идет о несправедливом и жестоком обыкновении лишать людей жизни внезапно, не говоря, так сказать, худого слова, без предупреждения, не крикнув «поберегись», и признаюсь, что это — сущее и неоправдан-

ное зверство: сколько раз я даже не давала людям времени хотя бы составить завещание, хотя справедливости ради замечу, что обычно высылала вперед болезни, хвори и недуги, обладающие, впрочем, некоей забавной особенностью — люди всегда надеются избавиться от них, так что лишь с большим опозданием постигают, что эта болезнь — последняя, а теперь все будет не так, и отныне каждый получит предупреждение и неделю срока, чтобы привести в порядок остаток своей земной жизни, написать завещание, проститься с близкими, попросить у них прощения за когда-либо содеянное зло, восстановить прерванные двадцать лет назад отношения с двоюродным, например, братом, и в заключение, глубокоуважаемый господин генеральный директор, мне остается лишь попросить вас о том, чтобы в каждый дом нашей страны уже сегодня пришло мое собственноручное послание, подписанное именем, под которым я известна всем, с совершенным почтением смерть. Увидев, что его уже нет на мониторе, директор встал с кресла, сложил листок вдвое и спрятал его во внутренний карман. К нему уже направлялся режиссер с искаженным и бледным лицом. Вот, стало быть, как, бормотал он чуть слышно, вот оно, значит, что. Директор молча кивнул и вышел из студии. Он уже не слышал, как лепетал диктор: Вы прослушали, — а потом пошли новости, потерявшие всякое значение, потому что во всей стране никому не было до них никакого дела: в тех семьях, где имелся неизлечимо больной, родственники сходились у его одра, хоть и не могли предупредить его, что он умрет через три часа, не могли сказать, что оставшееся время ему следует употребить на составление завещания

или на примирение с двоюродным, например, братом, не могли также продолжать всегдашнюю лицемерную игру, спрашивая его умильным голоском, как он себя нынче чувствует, нет, они будут посматривать на его землистые ввалившиеся щеки, а потом исподтишка — на часы, ожидая, когда минет срок и поезд мира двинется по обычной своей колее в нескончаемое путешествие. Немало было и таких семей, которые уже заплатили маффии, чтобы доставила куда следует полубренные останки их родичей, а теперь, убедившись, что плакали их денежки, и, в лучшем случае смирившись с этим, понимали, что, прояви они побольше милосердия и терпения, глядишь, и тратиться бы не пришлось. На улицах царила растерянность: там и тут виднелись ошеломленные, сбитые с толку и оторопелые люди, не знавшие, куда податься и что делать: одни безутешно рыдали, другие обнимались, словно бы решив начать прощание сейчас же и не сходя с места, третьи спорили, кто виноват — правительство, медицинская наука или папа римский, какой-то скептик утверждал, что не было еще в истории случая, чтобы смерть писала письма, а потому следует немедленно отправить послание на графологическую экспертизу, ибо, горячился он, рука, состоящая из одних лишь костей, не может писать так, как рука полноценная, подлинная, живая, состоящая из мяса, нервов, крови, сухожилий, а если кости не оставляют дактилоскопических отпечатков и, стало быть, не позволят установить автора письма, то анализ днк способен пролить свет на эпистолярный зуд, внезапно обуявший существо, всегда и неизменно хранившее молчание. В этот самый миг премьер говорил по телефону с королем,

объясняя ему, по каким именно причинам решил не посвящать его величество в суть дела, а тот отвечал, что, мол, да, что все понимает, а премьер сказал, что глубоко скорбит по поводу прискорбной развязки, имеющей наступить в полночь с последним ударом колокола, на что король пожал плечами в том смысле, что, мол, чем так жить, лучше уж вообще не жить, да и потом — сегодня ты, завтра я, тем более что наследный принц уже обнаруживает признаки нетерпения, осведомляясь, когда же придет его черед стать конституционным монархом. Завершив этот задушевный разговор, проникнутый непривычной искренностью, премьер приказал начальнику секретариата созвать всех членов кабинета на срочное совещание. Чтобы через сорок пять минут, ровно в десять, все были в сборе, надо обсудить и принять необходимые меры к тому, чтобы минимизировать всякого рода беспорядки и смуты, которые в ближайшие дни совершенно неизбежно породит изменившаяся ситуация. Вы имеете в виду количество покойников, коих надо будет в кратчайшие сроки вывезти. Да это-то что, мой дорогой, с проблемами такого рода справятся похоронные бюро, для них-то кризис кончился, они должны быть на седьмом небе от счастья, подсчитывая грядущие барыши, вот и пусть хоронят покойников, то есть занимаются своим прямым делом, а нам с вами придется озаботиться живыми — к примеру, собирать команды психологов, чтобы помогали людям справиться с травмой: легко ли вновь свыкнуться с неизбежностью смерти, когда они были убеждены в вечной жизни. Да, я и сам об этом думал, должно быть, это тяжело. Не теряйте времени, зовите министров, пусть прихватят с

собой статс-секретарей, я жду их к десяти, без опозданий, будут спрашивать — скажите каждому, что — его первого: они ведь самолюбивы как дети, без леденцов не могут. Зазвонил телефон, и: Ваше превосходительство, сказал министр внутренних дел, меня тербят из всех газет, требуют предоставить им копию письма, оглашенного в вечерних новостях, а мне о нем, к сожалению, ничего не было известно. Сожалеть здесь совершенно не о чем, я взял на себя ответственность за сохранение тайны, ибо в противном случае мы бы получили двенадцать часов бешеной свистопляски, паники и сумятицы. Так что же мне делать. Да ничего не делать — мой аппарат разошлет текст письма во все сми. Отлично. Ровно в десять начнется заседание кабинета, я жду вас вместе с вашими первыми замами. А прочих замов — не надо. Нет, этих оставьте, пусть дом сторожат, недаром говорится: меньше народу — больше кислорода. Слушаю. Прошу не опаздывать, заседание начнется ровно в десять ноль одну. Уверен, мы прибудем первыми. И — медаль на грудь. Какую медаль. Да это я так, к слову, не обращайтесь внимания.

А представители похоронных бюро, мастера погребения и кремации, специалисты по останкам и праху в этот час тоже собрались на совещание. На беспримерный, небывалый и неслыханный вызов, брошенный их профессиональному сообществу — тысячи людей по всей стране должны были одновременно скончаться и вслед за тем отправиться в последний путь — ответить можно только дружной, ладной, согласованной работой, мобилизацией всех человеческих и технологических ресурсов, сокраще-

нием накладных расходов, удешевлением себестоимости продукции и установлением квот пропорционально вкладу каждого из участников, сказал президент ассоциации, сорвав одобрительный аплодисмент. Следует также принять в расчет, что производство гробов, надгробий, памятников, саванов и покровов приостановлено с того дня, как люди перестали умирать, и даже в том весьма и весьма маловероятном случае, если в отдельных и разрозненных мастерских, чьи хозяева оказались чересчур консервативны, еще теплится жизнь, продолжительность ее можно с полным правом уподобить бытию малербова¹ бутона. Поэтическое сравнение, хоть было не слишком кстати, тоже вызвало рукоплескания, а президент продолжал: Но, как бы то ни было, навеки сгинули недавний кошмар, былой постыдный ужас, когда мы погребали собачонок, кошечек и любимых канареек. И попугаев, крикнули из зала. Да, и попугаев, кивнул президент. И тропических рыбок, вспомнил еще кто-то. Ну, это было лишь после того, как разгорелась дискуссия, затеянная духом, витавшим над водой аквариума, отныне и впредь дохлых рыбок будут бросать на съедение кошкам, в подтверждение закона о сохранении материи, выведенного господином лавуазье². Узнать, до каких глубин простирается почерпнутая из календарей эрудиция похоронных агентов, не удалось, потому что

¹ Имеется в виду стихотворение французского классициста Франсуа де Малерба (1555–1628) «На смерть дочери Дюперье»: «Увы, все лучшее испепеляют грозы, Куда ни посмотрю, И роза нежная жила не дольше розы — Всего одну зарю» (перевод М. Квятковской).

² Антуан-Лоран Лавуазье (1743–1794) — французский химик, открывший, помимо прочего, закон сохранения вещества.

один из них, озаботившись быстротекущим временем — двадцать два сорок пять — поднял руку и предложил немедленно позвонить в ассоциацию гробовщиков и спросить, как у них там обстоит дело: Нам же надо знать, на что мы можем рассчитывать завтра. Как и следовало ожидать, овацией встретили и эту идею, но президент, раздосадованный тем, что не он выдвинул ее, заметил: Скорей всего, в этот час никого в мастерских уже нет, на что получил ответ: А я полагаю, господин президент, что причины, приведшие нас сюда, заставили собраться и гробовщиков. Так оно и вышло. Из штаб-квартиры соответствующей корпорации сообщили, что оповестили своих членов немедленно по зачитании знаменитого письма и обратили их внимание на необходимость в кратчайшие сроки возобновить выпуск, так сказать, траурной тары и что в соответствии с поступающими сведениями многие предприятия не только призвали назад своих работников, но и полным ходом, в три смены ведут работу. Это, конечно, нарушает трудовое законодательство, заметил представитель, но, поскольку ситуация — чрезвычайная, наши юристы уверены, что правительство не только закроет глаза, но и будет благодарно за такую оперативность, однако мы не можем гарантировать, что наши изделия — особенно на этом первом этапе — будут отличаться тем же высочайшим качеством исполнения и отделки, к которому мы приучили наших клиентов: полировку, лак и рельефное распятие на крышке придется отложить до лучших времен, когда срочность начнет несколько снижаться, но в любом случае мы сознаем свою ответственность и понимаем, сколь важна наша роль в этом процессе. Тут

ЖОЗЕ САРАМАГО

снова раздались еще более бурные аплодисменты представителей похоронных бюро, и теперь уж им и в самом деле было с чем поздравить друг друга: ни один покойник не останется без погребения, ни один счет — без погашения. А могильщики, осведомился кто-то. Могильщики сделают то, что им скажут, раздраженно бросил президент. Он немного ошибся. Последовал еще один телефонный звонок, и оказалось, что могильщики требуют значительной надбавки к жалованию и тройной оплаты сверхурочных. Это — не к нам, это пусть у муниципалитета голова болит, сказал президент. А что, если придем на кладбище, а там нет никого, и некому могилу копать, спросил секретарь. Разгорелась острая дискуссия. В двадцать три пятнадцать у президента случился инфаркт миокарда, от которого спустя три четверти часа, когда смолк отзвук последнего, двенадцатого, удара колокола, он и умер.

Э то было почище всякой гекатомбы. В продолжение шести месяцев — ровно столько длилось одностороннее перемирие, объявленное смертью, — собралось в никогда прежде не виданную очередь шестьдесят, а если точнее, то — шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят человек, одновременно и в одно мгновение обретших вечный покой по воле некой смертоносной силы, сравнимой лишь с палаческими деяниями самих людей. И кстати, нельзя отказать себе в удовольствии напомнить, что смерть — сама по себе, одна, без посторонней помощи — всегда убивает гораздо меньше, нежели человек. Наверняка кто-то не в меру пытливым уже спрашивает, как это умудрились мы установить с такой точностью — шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят — число тех, кто смежил вежды навсегда. Да проще простого. Поскольку население страны, где все это происходит, составляет примерно десять миллионов человек, два начальных арифметических действия — умножение и деление — вкупе с тщательным размышлением над промежуточными среднемесячными и годовыми пропорциями позволяет нам получить узкую численную ленту, на которой указанное количество представля-

ется нам средневзвешенным и подходящим, а употребляя слово «подходящий», мы имеем в виду, что с тем же успехом могли бы получить значения, равные шестидесяти двум тысячам пятистам семидесяти девяти или шестидесяти двум тысячам пятистам восьмидесяти одному, если бы кончина президента ассоциации похоронных агентств, случившаяся внезапно и в последний момент, не внесла в стройный порядок наших вычислений известный разброд. Тем не менее мы продолжаем пребывать в совершеннейшей уверенности относительно того, что статистика захоронений, начатая уже ранним утром следующего дня, подтвердит правильность наших расчетов. Кто-то иной, не менее дотошный и неугомонный, из тех, кого хлебом не корми, а дай перебить плавное течение повествования, уже готов встрять и осведомиться, как медики узнавали, куда именно надлежит им направиться для исполнения своей обязанности, без которой ни один мертвец не будет на законных основаниях признан мертвецом, если даже он со всей несомненностью мертв. Излишне говорить, что в определенных случаях сами родственники усопшего вызывали к нему семейного врача, но, сами понимаете, число таких случаев было поневоле строго ограничено, ибо в задачу входило направить по официальному руслу аномальную ситуацию, дабы не подтвердилась в очередной раз справедливость речения «пришла беда, отворяй ворота», что применительно к данному случаю означает: мало того, что в доме скоропостижная смерть, так еще и разлагающийся труп. Тут-то, впрочем, и выяснилось, что премьер-министр не по стечению счастливых случайностей занял свой высокий пост, и что, как

неустанно твердит не дающая осечки, не в бровь, а в глаз бьющая народная мудрость, каждый народ достоин своего правительства, но при этом должно заметить, чтобы окончательно разъяснить вопрос, что если справедлива истина «премьер премьеру рознь», то не менее справедливо и то, что народы не все одинаковы. Короче говоря, смотря по обстоятельствам. Обстоятельства же оказались таковы, что любой наблюдатель, даже и не склонный к беспристрастной взвешенности суждений, ни на миг не замялся бы, заявляя, что правительство оказалось на высоте положения — трудного и тяжкого. Все мы помним, как в первые, блаженные дни, когда народ в невинности своей упивался нежданно свалившимся на нас бессмертием, оказавшимся столь мимолетным, некая недавно овдовевшая дама решила отметить новое это счастье и выставить на украшенный цветами балкон своей столовой, выходящий на улицу, государственный флаг. Не позабылось, вероятно, и то, как в течение двух суток знаменное поветрие, подобно эпидемии, охватило всю страну со скоростью огонька, бегущего по бикфордову шнуру. По прошествии же семи месяцев постоянных и горчайших разочарований лишь кое-где виднелись флаги, да и те — низведенные до статуса убогого тряпья, обесцвеченные солнцем, вылинявшие от дождей, с неузнаваемо и неоправимо расплывшимися гербами. Доказывая, что не вовсе утратило восхитительный дар предвидения, правительство вместе с другими неотложными мерами, имевшими целью смягчить побочный эффект от нежданного возвращения смерти, установило, что отныне государственный флаг будет означать, что вот здесь

где-нибудь скажем, на третьем этаже, слева лежит и ждет своей очереди покойник. И семьи, раненные лезвиями ненавистной парки, посылали кого-нибудь из домашних в лавочку купить символ государственности, вывешивали его из окна и, отгоняя мух с чела усопшего, принимались ждать врача, который засвидетельствует смерть. Следует признать, что идея была не только здрава и разумна, но и в высшей степени изящна. Врачам — городским ли, сельским — оставалось лишь кружить по улицам на машине, на велосипеде, на своих двоих, чтобы, чуть заметив флаг, войти в отмеченное им жилище и, невооруженным глазом произведя беглый — ибо всякое инструментальное исследование было невозможно из-за крайней спешки — осмотр, оставлять подписанный документ, призванный успокоить похоронное агентство на предмет специфической природы этого сырья, то есть, иными словами, гарантировать, что в объятom скорбью доме им не подсунут кролика под котика, а кошку, соответственно, не выдадут за кролика. Читатель, верно, уж и сам догадался, что подобное использование государственного флага имело двойную цель и соответственно приносило двойную пользу. Если поначалу оно сияло путеводной звездой врачам, то затем наподобие маячных огней повело к цели, так сказать, упаковщиков. Если говорить о крупных городах и прежде всего — о столице, непомерно большой для такой маленькой страны, то разделение пространства на некие делянки, позволявшие установить квоты пропорционально долевному участию, то есть понять, по остроумному выражению безвременно скончавшегося президента ассоциации похоронных бюро, кому

какой ломоть пирога причитается, неизмеримо облегчало труд перевозчиков человеческого груза к месту назначения. Другим следствием вывешивания флагов — следствием неожиданным и непредвиденным, но ясно показывающим, до какой степени заблуждения способны дойти мы, культивируя скептицизм, возведенный в систему, — стал почтительный жест кое-кого из добрых граждан, приверженных наиболее глубоко укоренившимся стереотипам изысканно-светского поведения, а потому еще носящих шляпу, которую они снимали, проходя мимо украшенного флагом окна и оставляя присутствующих в недоумении — из уважения ли к покойнику они обнажают голову или приветствуя вечно живой и священный символ державы.

Излишне говорить, что спрос на газеты увеличился многократно по сравнению даже с тем временем, когда показалось, что никто больше не умрет. Разумеется, огромное количество людей благодаря телевидению уже узнали о свалившемся им на головы катаклизме, у многих лежал дома покойник, а на балконе реял флаг, но нетрудно догадаться, что одно дело — увидеть на маленьком экране перекошенный волнением лик генерального директора, и совсем другое — эти бьющиеся в конвульсиях, испещренные кричаще-апокалиптическими заголовками газетные листы, которые можно свернуть, положить в карман и дома перечесть с должным вниманием. Вот вам эти немногие и наиболее выразительные примеры: ИЗ РАЯ — В АД, СМЕРТЬ ПРАВИТ БАЛ, НЕДОЛГОЕ БЕССМЕРТИЕ, СНОВА ПРИГОВОРЕНЫ К СМЕРТИ, ШАХ И МАТ, ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ, В ПОМИЛОВАНИИ ОТКАЗАНО, ВЕРДИКТ НА ЛИЛОВОЙ БУМАГЕ,

ШЕСТЬДЕСЯТ ДВЕ ТЫСЯЧИ СМЕРТЕЙ В СЕКУНДУ, СМЕРТЬ АТАКУЕТ В ПОЛНОЧЬ, ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ, ВОЛШЕБНЫЙ СОН СМЕНЯЕТСЯ ТЯЖКИМ КОШМАРОМ, ВОЗВРАЩЕНИЕ К НОРМАЛЬНОЙ СМЕРТИ, ЗА ЧТО НАМ ЭТО и так далее, и тому подобное. Все без исключения печатные издания воспроизвели письмо смерти на первых полосах, но одна газетка, чтобы облегчить чтение, поместило не факсимиле, а набранный четырнадцатым кеглем текст, исправив заодно пунктуацию и синтаксис, заменив строчные буквы на заглавные всюду, где надо, не исключая и подпись, так что смерть сделалась Смертью, причем заметим, что разница эта, неуловимая на слух, в тот же самый день вызвала гневный протест отправительницы, также написанный от руки и на листе такого же лилового цвета. По авторитетному мнению лингвиста-консультанта, смерть просто-напросто не владела даже самыми зачаточными навыками письма. Что же до почерка, утверждал он, то почерк до странности неправильный — кажется, что здесь сошлись все существующие, возможные и не вполне, способы начертания букв латинского алфавита, причем создается впечатление, будто каждая из них написана другим человеком, хотя это еще простительно по сравнению с полнейшим хаосом синтаксиса, отсутствием точек, неупотреблением абсолютно необходимых скобок, как попало расставленными запятыми и — это уж просто ни в какие ворота не лезет — намеренным и дьявольски упорным игнорированием заглавных букв, которые, вообразите себе, даже в подписи заменены строчной. Это стыд, восклицал лингвист, это позор, это провокация, и осведомлялся: Если даже смерть,

которой в прошлом не раз доставалась бесценная привилегия уводить с собой величайших гениев словесности, пишет таким образом, то разве могут не последовать примеру ее чудовищной безграмотности наши дети, оправдывая свое подражание тем, что смерть, бродя в здешних краях столько времени, просто обязана одинаково хорошо разбираться во всех областях знания. И завершал свою филиппику так: Синтаксические несообразности, которыми изобилует это печально знаменитое письмо, навели бы меня на мысль о том, что перед нами — крупномасштабная провокация самого недостойно-пошлого тона, если бы горестная действительность не доказывала, что ужасная угроза приведена в исполнение. В тот же день, ближе к вечеру, как мы уже мимоходом обмолвились, пришло еще одно письмо от смерти, где в самых энергичных выражениях она требовала опровержения и правильного написания своего имени: Я, уважаемый господин редактор, не Смерть, а просто смерть, Смерть — это такая штука, господа, даже краешек которой вам уразуметь не дано, ибо вы, люди, знаете только маленькую ежедневную смерть, меня, то есть, ту, которая даже в самых жутких бедствиях не способна перегородить течение жизни, не дать ей продолжаться, но когда-нибудь настанет день, и вы узнаете, что такое Смерть с большой буквы, и тогда, если, конечно, успеете, а она позволит, в чем я очень сомневаюсь, поймете истинное различие между относительным и абсолютным, полным и пустым, между «еще есть» и «нет и не будет никогда», а говоря об истинном различии, я имею в виду невыразимое словами сочетание возможного, относительного, абсолютного,

полного и пустого, «еще есть», «нет и не будет никогда» — что все это значит, господин редактор, а если сами не знаете, я вам скажу, слушайте: слова страшно подвижны и текучи, и меняются день ото дня, и зыбки, как тени, да они и есть тени, и существуют в той же степени, в какой и не существуют, это мыльные пузыри, еле слышный рокот моря в витой раковине, срубленные стволы, предоставляю вам эти сведения даром, совершенно, то есть безвозмездно, дабы доходчиво объяснить читателям вашей уважаемой газеты все *как* и *почему* жизни и смерти, а возвращаясь к цели настоящего письма, написанного, как и то, что было прочитано по телевидению, мною собственноручно, настоятельно прошу вас во исполнение закона о печати поместить опровержение, напечатав его там же и так же, где и как были помещены сведения, содержащие ошибки, допущенные по злому умыслу или небрежности, и особо обращаю ваше, господин редактор, внимание на то, что если настоящее письмо не будет немедленно опубликовано, причем безо всяких купюр, я завтра же направлю вам предварительное предупреждение, от присылки коего собиралась воздерживаться еще на протяжении нескольких лет, а скольких именно, говорить не стану, чтобы не омрачать вам остаток жизни, засим имею честь и прошу обратить внимание на подпись смерть. На следующий же день в сопровождении многословных извинений редактора письмо было опубликовано, да не просто, а в двух видах — воспроизведено факсимильно и напечатано четырнадцатым кеглем. И лишь после того, как газета поступила в продажу, осмелился редактор вылезти из своего на семь замков запертого бункера,

где засел с момента получения угрозы. И так силен был страх, что он отказался поместить на страницах своего издания графологическую экспертизу, принесенную ему лично виднейшим специалистом в этой области. Нет уж, спасибо, хватит с меня истории с подписью, предложите свое заключение другой газете, пусть там тоже попляшут, все что угодно, лишь бы не пережить еще раз этот страх, ибо его можно и вовсе не пережить. Графолог отправился по указанному адресу, потом посетил другую редакцию, потом третью и лишь в четвертой, когда он готов уж был отчаяться, сумел всучить свой труд — плод нескольких изнурительно-бессонных ночей. Основательный и содержательный доклад начинался с напоминания о том, что толкование особенностей почерка первоначально было одним из разделов физиогномики, включавшей в себя — сообщаем для сведения незнакомых с этой наукой — мимику, моторику, речь, и в каждой из этих сфер в свое время и в своей стране стяжали себе лавры такие светлые умы, как камилло бальди, иоганн каспар лафатер, эдуард огюст патрис окар, адольф генце, жан-ипполит мишон, уильям тьерри прейер, чезаре ломброзо, жюль крепьё-жамэн, рудольф попгаль, людви́г клягес, вильгельм гельмут мюллер, элис энскат, роберт хайсс¹, благодаря усилиям которых

¹ Камилло Бальди (1550–1637) — итальянский ученый, один из предтеч графологии. Иоганн Каспар Лафатер (1741–1801) — швейцарский писатель, автор трактата «Физиогномические фрагменты...» (1775–1778). Эдуард Огюст Патрис Окар (1787–1870) — один из первых французских графологов. Адольф Генце (1814–1883) — немецкий графолог. Жан-Ипполит Мишон (1806–1881) — французский графолог. Уильям Тьерри Прейер (1841–1897) — английский физиолог и психолог, эмигрировавший впоследствии в Германию. Чезаре Ломброзо (1835–

графология упрочила свой психологический аспект, обретя амбивалентность прикладной дисциплины и фундаментальной науки, после чего, вывалив целый ворох исторических и иных-прочих сведений, наш графолог с изнурительной дотошностью подверг экспертизе основные характеристики материала *sub judice*¹, то есть размер, нажим, наклон, сцепление букв и их взаиморасположение в пространстве текста, подчеркнув еще раз, что целью его исследования не был ни клинический диагноз, ни анализ характера, ни установление профессиональной пригодности испытуемого, все внимание было сосредоточено на криминологическом аспекте, благо явные свидетельства преступного склада личности подвергнутый изучению текст давал на каждом шагу. Несмотря на это, писал он далее с нескрываемым и горьким разочарованием, я оказался перед лицом противоречия не только неразрешимого, но и, опасаясь, не могущего быть разрешенным в принципе, по определению, ибо, хотя все результаты доскональнейшего графологического анализа, проведенного с полным соблюдением общепринятых методик, указывают, что авторство текстов принадлежит так называемому серийному убийце, па-

1909) — итальянский судебный психиатр и криминалист, родоначальник антропологического направления (ломброзианства) в криминологии и уголовном праве; выдвинул положение о существовании особого типа человека, предрасположенного к совершению преступлений в силу определенных биологических признаков (антропологических стигматов). Жюль Крепье-Жамэн (1858—1940) — французский графолог. Рудольф Попгаль (1893—1966) — немецкий невролог и графолог. Людвиг Клягес (1872—1956) — немецкий графолог. Вильгельм Гельмут Мюллер, Элис Энскаат, Роберт Хайсс — немецкие графологи середины XX века.

¹ Здесь — подлежащего освидетельствованию (*лат.*).

раллельно с этим было установлено и подтверждено столь же неопровержимыми доказательствами, нима-ло не отменяющими предыдущий тезис, следующее обстоятельство: существо, написавшее исследуемые письма, — мертво. Да, так оно и было на самом деле, и самой смерти не оставалось ничего другого, как подтвердить это. Вы правы, господин графолог, высказалась она после прочтения высокоученого доклада. Осталось лишь непонятным, каким это образом смерть, будучи мертвецом и состоя исключительно из костей, способна убивать. Да и письма писать. Тайна, которая раскрыта не будет никогда.

Занятые рассказом о том, что случилось, когда пробил урочный час тех шестидесяти двух тысяч пяти-сот восьмидесяти человек, пребывавших в состоянии отложенной смерти, мы отсрочили до лучшего времени — ну, вот и настало оно — совершенно необходимые размышления о том, как отреагировали на перемену ситуации дома призрания, больницы, страховые компании, мафия и церковь — прежде всего католическая, до такой степени главенствовавшая в описываемом нами государстве, что среди граждан его бытовали стойкое убеждение, твердая уверенность: случись иисусу христу повторить от истока до устья свое первое и — насколько нам известно — единственное пока земное бытие, он не выбрал бы себе другой страны для рождения. В приютах блаженного заката — начнем с них — чувства были те самые, какие и ожидались. Если принять во внимание, что бесперебойная ротация питомцев составляла, как исчерпывающе было разъяснено при самом начале этих удивительных событий, неперемнное условие экономического процветания

этих заведений, то возвращение смерти не могло не стать и, разумеется, стало поводом для ликования и новых надежд, окрыливших руководителей. Справившись с первоначальным шоком, который породило оглашенное по телевидению письмо, они принялись немедленно рассчитывать и прикидывать, как теперь пойдет жизнь, и она подтвердила их ожидания. Немало шампанского было выпито в полночь, чтобы отметить уже никем не ожидаемое возвращение к норме, и то, что может показаться стороннему взгляду воплощением безразличия и пренебрежения к чужой жизни, было на самом деле всего лишь естественным чувством облегчения, более чем законной радостью, сравнимой с той, которая вселяется в душу человека, стоящего без ключа у запертой двери и вдруг видящего, как она распаивается перед ним настезь и озаряется светом с той стороны. Люди шепетильные скажут, пожалуй, что можно было бы по крайней мере обойтись без шумного торжества, без хлопанья шампанских пробок и прочих примет разгула, ибо вполне хватило бы, чтоб отметить такое событие, скромного бокала портвейна или мадеры, рюмочки коньяку или ликерцу с кофе, однако мы-то с вами, знающие, как легко обуянный радостью дух рвет удила плоти, понимаем, что извинить такое, может, и нельзя, но простить должно. На следующее утро администрация развила бурную деятельность: родственникам тела усопших — забрать, в комнатах — прибрать и сменить постельное белье, персонал — собрать и объявить ему, что жизнь, слава богу, продолжается, — а уж потом села изучать список ходатайств о помещении в дом престарелых, чтобы из числа претендентов

отобрать таких, кто казался наиболее многообещающим. По причинам не вполне схожим, но не менее весомым, расположение духа тех должностных лиц, что крутили маховики лечебных учреждений, также заметно улучшилось за время, протекшее с ночи до утра. Хотя, как уже было вам рассказано ранее, значительную часть неизлечимо больных, чьи недуги достигли крайней и последней стадии, если позволительно, конечно, так говорить о нозологическом¹ состоянии, которому суждено было продолжаться вечно, выписали на попечение родственников, лицемерно приговаривая: Кто ж сумеет обеспечить бедняге лучший уход, — однако очень еще много таких, у кого в наличии не оказалось ни родных, ни денег на обеспечение счастливого заката, вповалку лежали даже уже не в коридорах, что практикуется в сих достославных заведениях спокон веку и до скончания его, но и по всем углам, на чердаках и в подвалах, пребывая в полнейшем забросе и небрежении, ибо зачастую к ним по нескольку дней кряду вообще никто не подходил, причем это нисколько не волновало ни врачей, ни сестер, успокаивавших себя тем, что как бы скверно страдальцам ни приходилось, помереть они все равно не помрут. Теперь, когда они все же благополучно померли, были вывезены и погребены, больничный воздух, обретя свой исконный и неповторимый букет — смесь эфира, йода и карболки, — кристальной свежестью своей сделался подобен атмосфере горных высот. Шампанское, правда, рекой не лилось — лили бальзам на ду-

¹ Нозология — учение о болезнях, их классификации и номенклатуре.

шу счастливые улыбки директоров и главных врачей, а об ординаторах только и можно сказать, что они, как исстари повелось, вновь стали провожать плотоядными взглядами младший медицинский персонал. Словом, все вошло в норму. Что же касается страховых агентств, чтоб не перечить перечню, где они значатся под номером третьим, то о них сказать в сущности и нечего, поскольку они не вполне еще раскумекали, повлияет ли изменившаяся ситуация на те изменения в полисах, о которых мы в свое время и в таких немислимых подробностях рассказывали, в лучшую сторону или совсем наоборот. Страховщики шагу не ступят, пока не будут совершенно убеждены, что впереди — твердая почва, а уж когда все-таки шагнут, тут же и тотчас бросят в нее новые семена, то бишь контракты, новая форма коих будет наилучшим образом отвечать их насущным интересам. А поскольку будущее принадлежит богу, и не ведает никто из нас, что день грядущий нам припас, они, страховщики то есть, будут по-прежнему числить в мертвых всех застрахованных, достигших восьмидесяти лет, ибо они-то и есть та самая синица в руке, и осталось теперь только найти способ уловить журавля в небе. Кое-кто из этих мастаков, пользуясь смятением, царящим в государстве, как никогда прежде застрявшим между молотом и наковальней, сциллою и харибдой, огнем и полымем, ну, и что там еще у нас есть, уже подумывает о том, что недурно было бы повысить возрастной порог до восьмидесяти пяти лет, а то и до девяноста. Доводы тех, кто ратует за это, ясны, как божий день, прозрачны, как ключевая вода: у людей, доживших до таких лет, как правило, уже нет родственников, к помощи кото-

рых можно прибегнуть в случае необходимости, а если даже и есть, то — такие же древние, как они сами, а пенсии их из-за постоянной инфляции и растущей стоимости жизни, так сказать, сдуваются, и по этой причине старики очень часто вынуждены бывают прерывать страховые платежи, предоставляя тем самым компаниям наилучший мотив для расторжения контракта безо всякого для себя ущерба. Это бесчеловечно, вскричат одни. Это — бизнес, который есть бизнес, возразят другие. Что ж, поглядим, как там дальше дело пойдет.

А вот уж где в ту пору много толковали о делах, так это в кругах маффии. Оттого, быть может, что помещенные несколько выше описания тех черных тоннелей, по которым внедрялось преступное сообщество в похоронное дело, отличались, без ложной скромности заметим, чрезмерной обстоятельностью, у читателя могло сложиться превратное впечатление о маффии: что ж, мол, это за убогий сброд, если не в силах заработать денег побольше, а усилий для этого — употребить поменьше. Да нет же, конечно имелся у маффии богатый ассортимент иных способов, как и у любой из таких организаций, в какой бы точке земного шара ни находились они, но местный, через два «ф» пишущийся криминальный синдикат, с необыкновенным искусством находивший равновесие между перспективными стратегическими замыслами и сиюминутными тактическими задачами, не ограничивался только немедленным барышом, но простирал свои планы значительно дальше — в самую что ни на есть вечность: желала наша маффия установить — с молчаливой помощью семей, уверовавших в благо эвта-

назии, и при попустительстве властей, делавших вид, будто смотрят в другую сторону — да, так вот, установить абсолютную монополию на смерть и погребение каждого представителя рода человеческого, взяв на себя ответственность за то, чтобы демографическая ситуация становилась такой, как нужно стране, то есть, если использовать однажды уже употребленное нами сравнение — раскручивать либо заворачивать кран по своему усмотрению. И если увеличивать или сокращать рождаемость было ей — пока, по крайней мере — не под силу, то ускорять или замедлять путешествия за границу — верней сказать, за грань — земного бытия могла она вполне. И в тот миг, когда мы ввели благосклонного читателя в комнату, там уже кипела оживленная дискуссия о том, как бы это наилучшим образом применить к делу — и желательно, к столь же выгодному — трудовые резервы, простаивающие в праздности после возвращения смерти к своим обязанностям, и когда за круглым столом отзвучали разнообразные, более или менее радикальные предложения, выбрали из них такое, что, во-первых, было осенено долгой и славной традицией, а во-вторых, легко осуществлялось. Речь, сами понимаете, шла о крышевании. И вот уже на следующий день по всей стране, с севера на юг и с запада на восток, в двери похоронных контор входили посетители — как правило, двое мужчин, иногда — мужчина и женщина, и уж совсем редко — две женщины — учтиво спрашивали управляющего, а потом уж ему самому культурно объясняли, что над предприятием его нависла опасность захвата, взрыва или поджога, ибо активисты неких незаконных ассоциаций, требовавших вклю-

читать право на бессмертие во всеобщую декларацию прав человека, теперь в бессильной ярости заносят тяжелую руку возмездия над похоронными бюро, виновными разве лишь в том, что предоставляют усопшим последний приют. Мы располагаем точными сведениями, продолжал один из посетителей, что эти подрывные акции, которые в случае сопротивления могут даже привести к убийствам владельца бюро, директора его, двух-трех сотрудников, равно как и членов их семей, начнутся завтра же и не исключено, что — в этом квартале. Что же мне делать, вопрошал, содрогаясь, устрешенный собеседник. Да ничего не делать, вам делать решительно нечего, а вот мы могли бы вас защитить, если, конечно, хотите. Конечно, хочу, защитите меня, пожалуйста. Для этого придется выполнить кое-какие условия. Да какие угодно, я на все согласен, только защитите меня. Прежде всего никому — даже вашей жене — ни слова об этом. Я не женат. Да неважно, матери, бабушке, тетке — никому не говорите. Рта не раскрою. И правильно сделаете, иначе рискуете остаться с закрытым ртом навсегда. Какие же еще условия. Только одно — заплатить, сколько мы скажем. Заплатить. Ну, а как бы вы хотели — нам же придется обеспечивать вашу безопасность, а это, дорогой мой, требует расходов. Понял. Мы смогли бы защитить все человечество, будь оно в силах заплатить, сколько следует, а впрочем, недаром же сказано — за временем одним другое настает, так что мы надежды не теряем. Понял. До чего хорошо, что вы так быстро все схватываете. И сколько же я должен уплатить. Вот здесь сумма проставлена. Сколько-сколько. Цена справедливая, не с потолка

взята. Так это за год или за месяц. За неделю. Да откуда ж у меня такие деньги, похоронный бизнес золотых гор не приносит. Вам еще повезло, что мы не запросили с вас столько, во сколько вы оцениваете свою жизнь. Ну, это понятно, жизнь-то одна, другой не будет. А чтоб и эту не потерять, мой вам совет — берегите ее. Я должен все обдумать, а потом еще обсудить со своими компаньонами. У вас — ровно двадцать четыре часа и ни минуты больше, через сутки мы умываем руки, и на вас ляжет полная ответственность за все, что может случиться с вами, а случится-то обязательно, хотя мы уверены, что на первый раз обойдется без смертоубийства, и тогда мы продолжим этот разговор, но цена удвоится, и вам придется заплатить, вы даже не представляете, до чего безжалостны эти ассоциации граждан, отстаивающие право на вечность. Ладно, я согласен. За четыре недели вперед, если вас не затруднит. За четыре. Что ж вы так кричите-то: ваш случай — особый, мы же вам объяснили, что обеспечить безопасность — дело не дешевое. Наличными или чек. Наличными, пожалуйста, чеки принимаем только в других обстоятельствах и когда речь идет о таких суммах, которые в руках не удержишь. Управляющий открыл сейф, пересчитал купюры и, вручая их посетителям, спросил: Позвольте, а расписочку бы какую-нибудь, что мне гарантируется безопасность. Ни расписки, ни гарантий, придется вам довольствоваться нашим честным словом. Честным, вы сказали. Совершенно верно, честным, сами увидите, в какой чести у нас честное слово и какие почести мы ему воздаем. А где мне вас найти в случае надобности. Не беспокойтесь, мы сами вас найдем. Пойдемте, я

провожу. Сидите-сидите, мы дорогу знаем: по коридору налево, мимо торгового зала, где выставлены на продажу гробы, потом пройти помещенье, где торгуют косметикой, дальше приемная, а оттуда и выход на улицу. Стало быть, не заблудитесь. Ни в коем случае, мы превосходно ориентируемся. И не потеряетесь. Мы не теряемся никогда, и в доказательство этого через месяц придет к вам наш человек за очередным взносом. Как я узнаю, что это он и есть. А вот взглянете на него — и сразу поймете, ни малейших сомнений не останется. Что ж, до свиданья. До свиданья, ну, что вы, не за что.

И напоследок — *last but not least*¹ — о католической, апостольской и, соответственно, римской церкви, обнаружившей много поводов быть довольной собою. Будучи с самого начала твердо убеждена в том, что смерть может отмениться только и исключительно кознями сатаны и что нет средства борьбы с ними лучше упорной молитвы, церковь отложила в сторонку добродетель скромности, которую с изрядным трудом и немалыми жертвами культивировала, и стала без удержу славословить себя и восхвалять за удачно проведенную общенациональную кампанию, преследовавшую цель испросить у господ бога скорейшего возврата смерти для избавления бедного человечества от еще злейших бед, конец цитаты. Молитвы шли до небес целых восемь месяцев, что и неудивительно, если вспомнить — до марса полгода лёту, а ведь небеса значительно дальше: тринадцать триллионов световых лет, если округлить цифры. К медовой сласти за-

¹ Последний по очередности, но не по значению (*англ.*).

конного удовлетворения, испытываемого церковью, примешивалась, однако, и капля деготка. Богословы спорили, так и не придя к согласию, о том, какие все же мотивы побудили творца и вседержителя вернуть смерть немедленно, не дав даже соборовать те шестьдесят две тысячи умирающих, которые, лишившись благодати последнего причастия, испустили дух скорее, чем мы об этом вам сказали. И червячок сомнения — подчинена ли смерть богу или все же начальствует над ним — продолжал тайно точить умы церковников, в среде которых дерзкое допущение — мол, смерть и бог суть лицевая и оборотная стороны одной медали — до сих пор считалось не то что ересью, а самым отвратительным святотатством. Но это — так сказать, взгляд изнутри. Огромному же большинству обычных людей казалось, что церковь занята прежде всего участием в погребении королевы-матери. После того, как шестьдесят две тысячи человек обрели вечный покой и катафалки их больше не затрудняли уличное движение, пришло время отвезти опочившую государыню в свинцовом, как и подобает, гробу в королевскую усыпальницу. И газеты не преминули написать, что была перевернута еще одна страница истории.

НАДО ПОЛАГАТЬ, ЧТО ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ ВОСПИТАНИЕ, приметы которого в наши дни встречаются все реже, да еще более или менее суеверное уважение к печатному слову, переполняющее робкие души, не позволили нашим читателям, выказывающим, впрочем, явные признаки едва сдерживаемого нетерпения, не захлебнуться в этом обильном словесном потоке, если не потопе, и не осведомиться, что же все-таки делала смерть с той роковой ночи, когда возвестила о своем возвращении. Памятуя о том, сколь велика роль, сыгранная в этих никогда прежде не виданных событиях нижепоименованными институтами и организациями, мы и вынуждены были бы с излишней, быть может, обстоятельностью объяснить, как же ответили на внезапное и резкое изменение ситуации дома престарелых, больницы, страховые компании, католическая церковь, однако если бы дело было в том, что смерть, утятя огромное количество покойников, которых надо предать земле в самое ближайшее время, приняла внезапно решение, продиктованное совершенно неожиданным и в высшей степени похвальным движением души, продлить еще на несколько дней свое отсутствие с тем, чтобы жизнь вновь вер-

нулась на прежнюю, накатанную колею — люди, скончавшиеся только что, иными словами — в первые дни восстановленного режима — волей-неволей присоединились к тем несчастным, что много месяцев кряду были в буквальном, а отнюдь не переносном смысле ни живы, ни мертвы, и об этих свежих покойниках мы, как настоятельно велит логика, должны были бы поговорить. Но ничего такого не было, смерть не проявила подобного великодушия. Причиной того, что в течение восьми дней никто не умирал — в связи с этим возникла и пошла по устам иллюзия: ничего, в сущности, не изменилось — оказались самые обычные взаимоотношения между смертью и смертными: все они должны были загодя получить предупреждение о том, что им остается еще неделя жизни, каковой им надлежит распорядиться с толком, а именно — завершить все земные дела, написать завещание, уплатить всяческие недоимки, попрощаться с родными и близкими. В теории все это выглядело превосходно, а на практике вышло совсем не так. Представьте себе, как человек крепкого здоровья, из тех, у кого даже голова никогда не болит, оптимист по принципиальной позиции, равно как и по ясным и объективным причинам, в одно прекрасное утро выходит из дому, направляясь на службу, и встречает на улице любезного почтаря, а тот и говорит: Вот хорошо, что я вас увидел, господин такой-то, вам письмецо пришло, — после чего немедленно вручает ему лиловый конверт, на который адресат, быть может, и не обратил бы особого внимания, полагая, что это — очередная назойливая докука, затеянная мастерами рекламы и сетевого маркетинга, не обратил бы, говорю, если бы не странный

почерк на конверте — точно таким же, один к одному, почерком написано знаменитое послание, факсимильная копия коего была недавно воспроизведена в газете. Если даже сердце у него в этот миг замрет от страха, если даже, охваченный предчувствием непоправимого несчастья, не захочет он брать письмо в руки, то все равно не сумеет это сделать, ибо тотчас почувствует нечто подобное тому, как если бы кто-то мягко взял его под локоток и помог спуститься со ступеньки, не поскользнувшись на банановой кожуре, а потом зайти за угол, не зацепившись одной ногой о другую. Точно так же не сто́ит, вероятно, даже и пытаться разорвать это письмо в клочки, ибо известно, что письма от смерти по определению нельзя уничтожить и что даже ацетиленовая горелка, включенная на полную мощность, не причиняет им никакого вреда, и наивная попытка притвориться, будто выронил письмо из рук, к успеху не приведет и окажется столь же бесплодной, потому что письмо не падает, словно приклеилось к пальцам, а если каким-то чудом все же упадет, — можно не сомневаться, что появившийся откуда ни возьмись доброхот сейчас же поднимет его и догонит мнимого растяпу со словами: Это, кажется, ваше, может, что нужное, — и останется лишь ответить ему меланхоличным: Да-да, нужное, большое вам спасибо. Впрочем, все это могло иметь место лишь вначале, когда еще очень немногие знали, что смерть для отправки и вручения своих роковых предуведомлений пользуется государственной почтовой службой. А потом лиловый сделался самым ненавистным из всех цветов, даже хуже черного, хоть тот и означает траур, но это вполне понятно — вспомним, что траур наде-

вают и носят живые, а не мертвые, чему не противоречит то обстоятельство, что хоронят сих последних в черном костюме. И вот — вообразите себе ошеломление, смятение, глубочайшую растерянность тех, на кого по дороге на работу вдруг выскакивает смерть в образе почтальона, который никогда не звонит дважды¹, ибо ему, если уж не встретились с получателем, совершенно достаточно будет бросить письмо в почтовый ящик или подсунуть под дверь. И, остолбенев, человек стоит посреди улицы со своим по-прежнему отменным здоровьем, и голова у него не болит даже после того, как по ней шарахнули таким сообщением, и чувствует, что мир больше не принадлежит ему или он — миру, теперь они одолжены друг другу сроком на восемь дней, да, никак не больше, чем на восемь дней, об этом сообщает письмецо в лиловом конверте, который он только что покорно вскрыл, но глаза отуманены слезами, и оттого не сразу прочтешь расплывающиеся строки: Уважаемый господин имярек, настоящим с прискорбием извещаю вас, что срок вашей жизни окончательно и бесповоротно истекает через неделю, а потому рекомендую употребить остающееся время как можно лучше, с совершенным почтением смерть. Подпись — с маленькой буквы, что, как мы знаем, в каком-то смысле служит сертификатом подлинности. Человек — письмоносец назвал его господином, стало быть, он относится к мужскому полу, что мы сейчас же и подтверждаем — не знает, что ему сейчас делать: то ли вернуться домой и

¹ Аллюзия на роман американского писателя Джеймса Кэйна (1892–1977) «Почтальон всегда звонит дважды» (1934), ставший основой одноименного фильма Тэя Гарнетта (1946).

вывалить эту неминуемую беду на головы близких, то ли, наоборот, — проглотить слезы и продолжить путь, идти туда, где ждет его работа, заполнить ею все остающиеся дни, чтобы с полным правом спросить: Смерть, так в чем же была твоя победа, зная, впрочем, что ответа не получит, ибо смерть никогда не отвечает — не потому, что не хочет, а просто не знает, что сказать, столкнувшись с наивысшей степенью человеческого страдания.

Этот уличный эпизод, возможный только и исключительно в маленькой стране, где все друг друга знают, более чем красноречиво показывает, сколь несообразную систему связи внедрила смерть ради расторжения временного контракта с тем, кого мы называем жизнью. Можно было бы истолковать это как очередное проявление какой-то садистской жестокости, примеры которой мы видим ежедневно, но, согласимся, смерти совершенно незачем быть жестокой: ей более чем достаточно просто отнимать жизнь у людей. Она, поверьте, и не думала об этом. А теперь, после семимесячного простоя, погруженная, как и полагается, в реорганизацию своих вспомогательных служб, даже и не внемлет воплям отчаяния и тоски, слетающим с уст мужчины и женщины, оповещенных о своей скорой кончине, отчаянья и тоски, которые иногда дают эффект совершенно обратный предполагаемому и запланированному: люди, приговоренные к исчезновению, не приводят, так сказать, в порядок свои земные дела, не (с)оставляют завещание, не погашают разного рода задолженности, да и прощание с родными и близкими откладывают на самый последний момент, что — само собой разумеется — маловато, ко-

гда суждена вечная разлука. Понятия, в сущности, не имея о том, что представляет собой природа смерти, которая, между прочим, отзывается и на имя «рок», газеты исходили бешенством, изощряясь в яростных нападках, называя ее безжалостной, жестокой, тиранической, коварной, императрицей зла, дракулой в юбке, врагом рода человеческого, убийцей, кровопийцей, предательницей, изменницей, снова убийцей — но теперь уже серийной, а один еженедельник, юмористического скорее толка, начисто истощив творческое воображение своих сотрудников, просто обругал ее паскудой. Хорошо еще, что в нескольких редакциях здравый смысл возобладал. Одна из ста — да нет же, вы не дослушали — старейших и самых уважаемых газет королевства в редакционной статье рассудительно призывала начать со смертью открытый и искренний диалог без недомолвок, диалог, исполненный братского чувства, задушевный и согретый сердечным теплом, в том, конечно, случае, если удастся установить местопребывание ее, установить, где находится логово ее и берлога, резиденция и головной офис или, если угодно, штаб-квартира. Другой почтенный орган предлагал силам правопорядка вплотную заняться магазинами канцелярских товаров и бумагоделательными фабриками, ибо покупатели конвертов и бумаги лилового цвета — а покупателей таких должно быть наперечет — в свете недавних событий наверняка изменили свои предпочтения в части почтовых принадлежностей, и, значит, нетрудно будет сцапать макабрическую клиентку, когда она явится пополнить запас. Третья газета, лютая соперница второй, поспешила объявить эту идею воплощением во-

пиющей глупости, ибо только клиническому идиоту может прийти в голову такое: смерть, как мы ее себе представляем — скелет, окутанный саваном — своими ногами, щелкая пяточными костями по торцам мостовой, самолично потащится отправлять письмо. Не желая отставать от прессы, телевидение порекомендовало министерству внутренних дел установить наблюдение за почтовыми ящиками — по всей видимости, позабыло оно, что самое первое письмо оказалось колдовским образом на столе генерального директора, причем дверь в кабинет был заперта на два оборота, а оконные стекла — целы. Ни в полу, ни на потолке, как равно и на стенах, не было ни малейшей щелочки — такой, куда пролезло хотя бы лезвие бритвы. Хорошо было бы, конечно, убедить смерть, чтобы проявила сострадание к несчастным и обреченным людям, но для этого нужно сперва найти ее, но как это сделать и где ее искать, не знает никто.

Вот тогда одного судебного медика, хорошо разбиравшегося во всем, что имело прямое или косвенное отношение к сфере его деятельности, и осенило — надо выписать из-за границы знаменитого специалиста по восстановлению лица по фрагментам черепа, какой специалист, изучив изображения смерти на старинных полотнах и гравюрах, попытается нарастить мышцы и прочее мясо, вставить в пустые глазницы глаза, добавить в нужных количествах и пропорциях волосы, брови и ресницы, придать кожным покровам нужный цвет, так что вскоре появится у него полноценная человеческая голова — ее сфотографируют, снимки размножат, и следователи будут носить их с собой в бумажнике, чтобы сличать с лицами подозри-

тельных личностей женского пола. Специалист в самом деле приехал, но скверно было то, что лишь неопытный глаз мог бы счесть одинаковыми три выбранных черепа, так что работать пришлось не с одной фотографией, а с тремя, что, разумеется, затрудняло проведение охоты-на-смерть, как не без высокопарности назвали операцию. Но одно выяснилось непременно и несомненно: ни самая примитивная иконография, ни самая запутанная номенклатура, ни самая туманная символика не ошибались — смерть и вправду оказалась женщиной. Со всеми ее чертами, свойствами и особенностями. Любопытно, что к этому же самому выводу, как вы, наверно, помните, пришел и тот прославленный графолог, который исследовал первое письмо смерти, ибо упорно ставил все глаголы в женском роде, что, впрочем, могло оказаться всего лишь следствием укоренившейся привычки: во всех языках, за исключением лишь нескольких и весьма немногих, неизвестно почему делающих выбор в пользу мужского или среднего родов, смерть — всегда особа женского пола. Да, так вот, следует настойчиво повторить, дабы не забылось, то, что было уже упомянуто несколько выше: три юных женских лица решительно отличались одно от другого и от третьего, хотя и обладали при этом чертами явного, узнаваемого и несомненного сходства. Поскольку плохо верится в существование трех разных смертей, работающих по очереди, то двух надлежало бы непременно исключить, хотя, словно бы для того, чтобы еще больше запутать дело, могло бы случиться так, что скелетоподобная модель смерти истинной и настоящей не совпадала ни с одной из трех отобранных. И все это

можно смело уподобить выстрелу, произведенному в крошечной тьме, но при этом с упованием на то, что счастливый случай успеет подставить под траекторию пули мишень.

Началось, ибо иначе и быть не могло, расследование, проводившееся в архивах государственной службы установления личности, где были собраны, классифицированы и распределены по основным признакам, то есть долихоцефалы — налево, брахицефалы — направо, фотографии всех жителей страны, как коренных, так и приезжих. Результаты обескураживали. Ясное дело, никто и не рассчитывал, что модели, отобранные для реконструкции со старинных гравюр и живописных полотен, совпадут с вочеловеченным образом смерти на основании современных, менее века назад внедренных систем идентификации личности, однако, с другой стороны, следовало учесть, что смерть, существовавшая всегда, от начала времен, вдруг возымеет на протяжении этих самых времен желание преобразить свою наружность, так что, не упуская из виду, что в подполье ей было бы весьма затруднительно исполнять свои обязанности в полном объеме, прием вполне логичную гипотезу того, что она вероятней всего была зарегистрирована под вымышленным именем, раз уж — нам ли этого не знать — для смерти ничего невозможного нет. Ну, как бы то ни было, а факт остается фактом: следователи, даже призвав на помощь новинки информационных технологий, не смогли идентифицировать ни одну из фотографий, хранящихся в базе данных, с тремя виртуальными образами смерти. Не совпадало. И не оставалось ничего другого, как — впрочем, этот вариант был предусмо-

трен заранее — обратиться к методам классического сыска, к искусству полицейской кройки и шитья, то есть отправить по всей стране тучу, кучу или чертову уйму агентов, которые, обходя дом за домом, лавку за лавкой, контору за конторой, фабрику за фабрикой, ресторан за рестораном, бар за баром и наведываясь даже в места, отведенные для дорогостоящих сексуальных забав, будут проверять всех лиц женского пола, исключая девочек-подростков и дам более чем зрелого возраста, ибо фотографии в карманах этих агентов не оставляют сомнений в том, что смерть, если доведется ее повстречать, — это женщина лет тридцати шести и редкостной красоты. В соответствии с полученным образцом любая из тех, кто отвечал этим критериям, могла быть смертью — но ни одна из них таковой в действительности не являлась. Усилия были безмерные, а результаты — мизерные: оттопав много миль по улицам, дорогам и проселкам, взобравшись по лестницам, совокупной длины коих хватило бы, чтобы дотянуться до небес, агенты сумели идентифицировать двух женщин, которые отличались от найденных в архивах изображений потому лишь, что воспользовались благодетельными вмешательствами пластической хирургии, по удивительному ли совпадению, по странной ли случайности подчеркнутыми черты сходства их лиц с реконструированным образцом. Впрочем, тщательное изучение их биографий позволило с полной уверенностью исключить самую малейшую возможность того, что они когда-либо профессионально или на любительском уровне практиковали, пусть даже и в свободное время, смертоносное ремесло парки. Что касается третьей женщи-

ны, чья личность была установлена благодаря фотографиям в семейном альбоме, то она скончалась в прошлом году. Простейшим методом исключения удалось доказать, что не может быть смертью существо, ставшее некоторое время назад ее жертвой. И излишне говорить, что пока шло расследование, а шло оно несколько недель, лиловые конверты продолжали поступать адресатам. Было очевидно, что смерть ни на пядь не отступила от своих обязательств перед человечеством.

Сам собой напрашивается вопрос: неужели правительство ограничилось бесстрастным созерцанием той драмы, которую ежедневно переживали десять миллионов жителей страны. Однозначного ответа дать нельзя. Скажешь «да» — и будешь прав, потому что смерть, в конце концов, есть самое нормальное и обыденное свойство жизни, чистейшая рутина, нескончаемое чередование отцов и детей, пошедшее еще, по крайней мере, с адама и евы, и медвежью услугу оказали бы правительства всего мира и без того довольно шаткому общественному спокойствию, вздумай они объявлять трехдневный траур всякий раз, как в приюте для бедных умрет убогий старик. А скажешь «нет» — тоже не ошибешься, потому что самое каменное сердце дрогнет при виде того, как установленное смертью недельное ожидание приобретает черты народного бедствия, причем не только для трехсот человек, в чьи двери ежедневно стучалась злая судьба, но и для всего остального населения, насчитывающего ни больше ни меньше как девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч семьдесят человек всех возрастов и состояний, и видящего, проснувшись

поутру после мучительных ночных кошмаров, занесенный над собой дамоклов меч. Что же касается тех трехсот, что получали убийственное лиловатое письмо, то каждый из них реагировал на неумолимый приговор по-разному, в соответствии с особенностями своего характера. Помимо уже упомянутых выше персонажей, которые, движимые довольно извращенной идеей отмщения, имеющего полное право называться звучным неологизмом «предпосмертное», решали наплевать на исполнение своего гражданского и семейного долга, никаких завещаний не оставлять, недоимок в казну не выплачивать, немало было и таких, кто, весьма вольно оттрактовав классический¹ призыв ловить день, проводили отпущенное им краткое время в заслуживающих всяческого порицания оргиях, где, глуша себя спиртным, дурманя наркотиками, безудержно предавались самому гнусному разврату, надеясь, должно быть, что подобные излишества навлекут на них удар — в медицинском ли смысле или же карающей молнии — который пришибет их на месте и тем самым вырвет из когтей смерти как таковой и натянет ей — ничего, что безноса — нос. Третьи — мужественные, исполненные чувства собственного достоинства стойки — избирали абсолютную радикальность самоубийства, тоже полагая, что таким образом предадут танатосу урок хороших манер — то, что в старину называлось моральной пощечиной и в соответствии с высокими устремлениями минувших времен считалось болезненней любого физического воздействия. Излишне говорить, что неудачны были все по-

¹ «Carpe diem» (лат.) — это изречение содержится в I книге од римского поэта Квинта Горация Флакка (65—13).

пытки суицида, кроме тех, которые совершались отдельными упрямыми в последний день срока. На этот мастерский ход смерти ответить было нечем.

Надо отдать должное католической римской апостольской церкви, которая, сознавая, что мы живем в век аббревиатур, получивших широчайшее распространение как в частном обиходе, так и публичном, не обижалась на упрощающее сокращение *крац*: она первой с полнейшей отчетливостью отдала себе отчет о том, в каком состоянии духа пребывает народ. Впрочем, только слепец мог бы не заметить, как ежедневно заполняются храмы толпами взволнованных людей, стекавшихся туда в чаянии обрести слово надежды и утешения, получить толику целительного бальзама, пригоршню духовных анальгетиков и транквилизаторов. Люди, до той поры жившие в сознании того, что смерть есть непреложная данность, что избежать ее нельзя, но одновременно убежденные, что когда столько народу стоит на пороге небытия, им-то самим едва ли выпадет этот жребий, — ныне, прячась за шторой, выглядывали из окна: не видать ли почтальона, или дрожали, возвращаясь домой, где притаившийся за дверью, подобно кровожадному чудовищу с широко разинутой пастью, да нет, во сто крат страшней — мог выскочить на них грозный лиловый конверт. В церквях длинные вереницы кающихся грешников, постоянно сменяющихся новыми и новыми и оттого напоминающих конвейер, в два оборота опоясывали центральный неф. Исповедники трудились, не покладая рук, порою делаясь от усталости рассеянными, порою наостряя уши от какой-нибудь пряно-пикантной подробности, потом налагали фор-

мальную епитимью — столько-то раз прочесть отче наш, столько-то раз верую — и торопливо отпускали грехи. Улучив минутку, когда один исповедовавшийся уже уходил, а другой — еще не успел преклонить колени, вонзали зубы в сэндвич с курятиной — вот тебе и весь обед, — мечтая вознаградить себя за ужином. Проповеди неизменно и неизбежно вертелись вокруг темы смерти — единственных врат царства, куда никому и никогда еще не удавалось войти живым, и утешители с амвона, не брезгуя приемами самой высокой риторики, но и фортелями самого примитивного катехизиса не гнушаясь, внушали устранным прихожанам, что они-то, в конце концов, могут считать себя счастливее своих предков, поскольку смерть предоставила им достаточно времени, чтобы приуготовить душу к восхождению в эдем. Но были среди священников и такие, кто, затворяясь в затхлой полутьме исповедадьни, еле сдерживал ужас, и один бог знает, чего это им стоило, ибо и сами они в это утро получили конверт лилового цвета, и по этой причине в избытке было у них причин сомневаться в убедительности собственных успокоительных рацей.

То же самое происходило порой и с психиатрами, которых министерство здравоохранения по примеру церкви, врачевавшей души, отправляло на помощь самым отчаявшимся. И нередко были случаи, когда какой-нибудь психотерапевт в тот самый миг, когда он советовал пациенту не сдерживать слезы, ибо нет для облегчения душевной боли средства лучше, чем выплакаться, вдруг начинал биться в судорожных рыданиях, сообразив, что когда завтра утром начнут разносить почту, он и сам может оказаться получателем

лилового конверта. И завершился сеанс тем, что врач и пациент, постигнутые одним и тем же несчастьем, горько плакали обнявшись, но первый при этом еще думал, что если и вправду стряется с ним такая беда, останется у него в запасе еще восемь дней, сто девяносто два часа жизни. Слышал он, что для облегчения перехода в мир иной устраиваются развеселые вечерушки с наркотиками, спиртным и блудом, хоть тут и кроется риск — вознесясь на тот свет после таких проводов, по этому тосковать станешь еще сильнее.

НЕТ ПРАВИЛ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ, гласит народная мудрость, и, должно быть, это и в самом деле так, ибо даже в сфере, законы которой все мы дружно и единодушно почитаем незыблемыми, — к примеру, верховного владычества смерти, где исключения нелепы и невозможны просто по определению, случилось так, что одно лиловое письмо не было доставлено адресату и вернулось по принадлежности, то есть к отправителю. Нам возразят, что, мол, это решительно невозможно, что смерть, именно потому что она пребывает везде, не может находиться в каком-то одном определенном месте, откуда вытекает — ну, не из места же вытекает, а из тезиса — вот эта самая полнейшая невозможность, как материальная, так и метафизическая, определить и установить пресловутую принадлежность или, если держаться ближе к интересующему нас предмету, обратный адрес. И еще нам возразят, хоть, может быть, уже не с такой умозрительной уверенностью, что невзирая на усилия тысячи агентов, которые, частым гребнем прочесывая дом за домом всю местность, неделями ищут смерть по стране, как все равно неуловимо-проворную блошку или, скажем, вошку, о ней, о смерти то есть, ни слуху, ни

духу, становится совершенно очевидно, что если до сих пор нам не представили никаких объяснений того, каким образом письма смерти попадают на почту, то и подавно никто не скажет, какими таинственными путями может вернуться неврученное письмо к отправителю, то бишь к смерти. Смиренно признаем, что объяснений этому и еще многому-многому другому и в самом деле нет, что мы не в силах предоставить их тем, кто их у нас требует, если только, злоупотребив доверчивостью читателя и перешагнув через уважение, которое обязаны питать к логике событий, не присовокупим к исконной ирреальности сюжета новых мнимостей, сознавая со всей отчетливостью, что они значительно ослабят его правдоподобие, хотя все вышесказанное вовсе не значит — повторим: не значит, что упомянутое письмо в лиловом конверте не было благополучно возвращено отправителю. Факты и сами-то по себе упрямая вещь, а этот факт еще и принадлежит к числу неопровержимых. И нет этому лучшего доказательства, чем имеющийся у нас перед глазами образ самой смерти — завернувшись в свою простынку, она сидит на стуле и, судя по расположению костей ее черепа, пребывает в полнейшей растерянности. Она недоверчиво разглядывает лиловый конверт, вертит его в руках, отыскивая пометы, которые должны в подобных случаях оставлять почтальоны: отказался получать, сменил местожительство, убыл в неизвестном направлении и на неизвестный срок, не вручено за смертью адресата — и бормочет: Что за чушь, какая там смерть, если то письмо, которое и должно было его убить, вернулось ко мне. Последние слова бездумно пронеслись в ее голове, но

она тотчас уцепилась за них, вернула и произнесла уже вслух и с мечтательной интонацией: Вернулось ко мне. Не нужно быть почтальоном, чтобы понимать разницу между «вернулось назад» и «возвращено», ибо это значит всего лишь, что лиловое письмо не дошло до цели, что в некоей точке его пути случилось такое, что понудило его попятиться и направиться в точку исходную. Впрочем, письма кто-то носит, сами они не ходят — мало того, что ног нет и крыльев не имеется, так еще и, насколько мне известно, они лишены собственной инициативы, а иначе могли бы отказать передавать ужасные известия, переносчиками которых так часто и поневоле становятся. Вот, например, как это, со всей беспристрастностью вынуждена была признать смерть, ибо известие о том, что кто-то умрет тогда-то и тогда-то, в такой-то день и час, есть, согласимся, наихудшее из всех возможных, это все равно как невесть сколько лет просидеть в камере смертников, а потом увидеть перед собой надзирателя, шагнувшего через порог со словами: Тут тебе письмо пришло, так что давай на выход. Любопытно, что все прочие письма из последней партии были вручены адресатам, а если с этим получилась осечка, то не иначе как по какой-то непредвиденной случайности в точности так же, как с неким любовным посланием, которое — один бог знает, каковы были последствия — пять лет добиралось до адресата, жившего в двух кварталах, то есть менее чем в четверти часа ходьбы, а возможно, что оно попало с одной ленты транспортера на другую, и никто этого не заметил, и вернулось в пункт отправления, подобно тому, как заблудившийся в пустыне может рассчитывать

только на следы, им же самим и оставленные. Ну что ж, выход один — послать его вторично, промолвила смерть, обращаясь к своей косе: прислоненная к белой стене, та стояла рядышком. Не следует ждать от косы ответа — тут все оказалось в пределах нормы. Если бы я, продолжала смерть, послала тебя с твоим пристрастием к скоропалительным решениям, дело уже давно было бы в шляпе, но, знаешь ли, времена в последнее время сильно изменились, и нам с тобой тоже следует быть на уровне новейших течений и веяний и в курсе последних технологических разработок, пользоваться, к примеру, электронной почтой, слышала я, что это самое гигиеничное средство связи, кляксу не посадишь и пальцы не выпачкаешь, и потом это так быстро — не успеет человек открыть свой *outlook express*, как письмо уже у него, можно сказать, в руках, плохо лишь, что мне в этом случае пришлось бы вести два архива: один для тех, кто умеет пользоваться компьютером, а другой — для тех, кто нет, но в любом случае время у нас в запасе еще есть, постоянно появляются новые, все более и более усовершенствованные модели, так что, может быть, когда-нибудь я и решусь попробовать, а пока будем по старинке, перышком, обмакнутым в чернила, да по бумаге, в этом есть очарование традиции, а традиция в деле умирания весит много и стоит дорого. Смерть пристально поглядела на лиловый конверт, двинула правой рукой — и письмо исчезло. Стало быть, теперь мы знаем, что вопреки расхожим и весьма распространенным мнениям на почту смерть свои письма не носит.

На столе — список из двухсот девяноста восьми имен, то есть он чуть короче, чем в среднем, сто пять-

десять два мужчины, сто сорок шесть женщин, равное количество конвертов и почтовой бумаги лилового цвета предназначено для предстоящей почтовой же операции, именуемой кончина-по-почте. Смерть добавила к списку имя человека, которому было отослано вернувшееся письмо, подчеркнула слова и спрятала ручку в пенал. Если бы у нее были нервы, мы могли бы сказать, что она слегка взвинчена — и не без оснований. Слишком долго живет она на свете, чтобы счесть возвращение письма маловажным эпизодом. При наличии малой толики воображения легко понять, что из всех работ, сколько ни есть их с тех пор, как исключительно по вине господ бога каин убил авеля, работа смерти — самая однообразная. И от того прискорбного случая, еще при начале времен показавшего, до чего же трудно жить в семье, и вплоть до наших дней, век за веком, год за годом, изо дня в день делает она одно и то же, без передышки, непрерывно и бесперебойно, бесконечно варьируя, разумеется, способы перевода из бытия в небытие, но по сути — одно и то же, неотличимое от нее самой, ибо один и тот же получается результат. По правде говоря, ни разу еще не приходилось видеть, чтобы тот, кто должен умереть, не умер. А вот теперь посланное смертью, собственноручно написанное и ее именем подписанное уведомление, неумолимо сообщавшее о том, что конец настает и отсрочки не предвидится, наглейшим образом вернулось к своему истоку — в эту холодную комнату, где, с головой завернувшись в меланхолический саван — свою освященную веками форменную одежду, — сидит отправительница, размышляет о происшествии, покуда ее костлявые пальцы — или

пальцевые кости — выбивают по столешнице дробь. Немного странно, что ей хочется, чтобы вторично отосланное письмо снова вернулось, и чтобы на конверте появилась, к примеру, пометка — адресат выбыл в неизвестном направлении, — и вот это уж точно ошеломило бы ту, которая неизменно умела определять, где ж это мы спрятались, если мы когда-нибудь таким ребяческим способом думали ускользнуть от нее. Смерть, впрочем, не верит, что на оборотной стороне конверта будет отмечено отсутствие адресата, ибо ее база данных обновляется автоматически при каждом нашем движении, фиксирует каждый наш шаг, регистрирует смену квартиры, страны, профессии, привычек и пристрастий — курит или нет, много ли ест, или мало, или вообще не ест, деятелен ли или любит негу, страдает ли головными болями или язвой, склонен ли к запорам или, напротив, к безутешному расстройству желудка, или к облысению, не тронут ли уже раковой клешней, для всех этих «да», «нет», «возможно» — достаточно выдвинуть соответствующий ящик картотеки, отыскать нужный формуляр, вот тебе и все. И не сто́ит удивляться, если в тот самый миг, когда мы погрузились бы в чтение этого нашего досье, появилась бы там запись о том, что внезапно от острейшей тоски каменеет все тело. Смерть знает о нас все, и потому, должно быть, она так печальна. И если она и впрямь никогда не улыбается, то уж не оттого, что нечем, и этот урок анатомии учит нас, что, вопреки мнению живых, улыбка не зависит от наличия или отсутствия зубов. Иные скажут — с юмором не столько кладбищенским, сколько просто сомнительного вкуса, — что у нее на лице — постоянная, будто приклеенная

улыбка, но это не так: это — не улыбка, а страдальческая гримаса, ибо неотступно ее преследует воспоминание о том времени, когда был у нее рот, а во рту — язык, а на языке — слюна. Вот, коротко вздохнув, она придвинула к себе лист бумаги и начала писать первое за сегодня письмо: Многоуважаемая госпожа такая-то, с глубоким прискорбием извещаю вас о том, что срок вашей жизни неумолимо истекает через неделю, и желаю вам как можно лучше распорядиться остающимся временем, с совершенным почтением смерть. Двести девяносто восемь листков, двести девяносто восемь конвертов, двести девяносто восемь вычерков в списке — нельзя сказать, что работа уж прямо на износ, однако завершив ее, смерть чувствует изнеможение. Уже знакомым нам движением правой руки она заставляет двести девяносто восемь писем исчезнуть, а потом, сложив на столе бесплотные руки, опускает на них голову, но не затем, чтобы заснуть, ибо смерть не спит никогда, а — чтобы отдохнуть. Когда же через полчаса, уняв усталость, голову подняла, то вернувшееся и вторично отосланное письмо снова оказалось здесь, перед ее изумленными пустыми глазами.

Если смерть лелеяла надежду на какой-нибудь сюрприз, могущий развлечь ее в тошнотворной рутине, то желаемое получила. Вот он — сюрприз, причем из самых лучших. Первый возврат мог возникнуть в результате технического сбоя либо скверной смазки, или из-за того, что какое-нибудь небесно-голубое письмецо так спешило по адресу, что вырвалось вперед, да мало ли что могло случиться внутри машины, которые — в точности как человеческое тело — оп-

рокидывают порой самые выверенные расчеты. А вот второй отказ в системе — дело другое: он ясно показывает, что на каком-то участке пути, ведущем к дому получателя, имеется некое препятствие, столкнувшись с которым, письмо рикошетом отлетает назад. В первом случае, если вспомнить, что возврат произошел через день после отправки, еще можно было предположить, будто почтальон, не встретив получателя, вместо того, чтобы опустить письмо в почтовый ящик или подсунуть под дверь, вернул отправителю, забыв указать, по какой причине не было оно доставлено. Конечно, слишком много допущений, однако же — чем не объяснение случившегося. Теперь — не то. Между отсылкой и возвратом минуло не более получаса, а может, и того меньше, если вспомнить, что оно уже лежало на столе, когда смерть подняла голову с жесткой подушки скрещенных предплечий, то бишь сплетения лучевых и локтевых костей. Нет-нет, кажется, будто какая-то посторонняя, таинственная, непостижимая сила препятствует смерти этого человека, хоть дата ее, как и у всех представителей рода людского, определена со дня рождения. Но это невозможно, обратилась смерть к безмолвной косе, ни у кого в целом мире и за пределами его нет и не будет власти большей, чем у меня, я — смерть, все прочее — ничто. Она поднялась со стула, подошла к картотеке и вернулась с подозрительным формуляром. Да, несомненно, это было искомое: имя совпадало с тем, которое значилось на конверте, и адрес тоже, профессия — виолончелист, семейное положение — прочерк, означающий — не женат, не вдов, не разведен, ибо в формулярах смерти «холост» не пишется, полнейшей глу-

постью было бы при появлении ребенка на свет, когда и заводится на него карточка, указывать в ней не профессию, хоть он еще и сам не знает, куда его потянет, но что семейное положение новорожденного — холост. Что касается возраста, указанного в формуляре, зажатом в руке смерти, то написано там — сорок девять лет. И если нужны еще какие-либо доказательства того, как безупречно функционируют архивные службы, то мы эти доказательства получим сейчас же, когда скорее, чем в десятую долю секунды, прямо у нас на глазах — вытарашенных в изумлении — цифры четыре и девять сменятся пятеркой с ноликом. Стало быть, у виолончелиста этого сегодня — день рождения, и по такому случаю цветы бы ему послать, а не уведомление о кончине, имеющей быть через неделю. Смерть снова поднялась, принялась кружить по комнате, дважды останавливалась рядом с косой, всякий раз открывая рот, словно бы для того, чтобы поговорить с ней, осведомиться о ее мнении, отдать распоряжение или же просто сообщить, что несколько сбита с толку, в чем нет ничего удивительного, если вспомнить, что за все то время, что отправляет она свое ремесло, ни разу до сего дня не пришлось ей испытать ни малейшего признака неуважения со стороны человеческого стада, полновластным пастырем коего была она, есть и будет. И в этот миг ее посетило скорбное предчувствие — это происшествие может оказаться куда серьезней, чем показалось ей сперва. Снова присев к столу, она принялась листать смертные списки за последние восемь дней. И в первом же — то есть вчерашнем — перечне увидела, что имя виолончелиста не значится. Она продолжала листать —

один, другой, еще другой и еще, и вот, наконец, в восьмом списке обрела искомое. Стало быть, она совершенно напрасно отыскивала его во вчерашнем и теперь оказалась перед лицом неслыханного скандала: тот, кому уже два дня полагалось быть покойником, по-прежнему оставался жив. И даже не в этом было дело. Чертов виолончелист, которому на роду было написано умереть относительно нестарым человеком, всего в сорок девять лет, взял да и наглейшим образом дожил до пятидесяти, поправ тем самым и выставив на посмешище судьбу, удел, жребий, рок, гороскоп и все прочие силы, призванные всеми возможными и невозможными средствами воспрепятствовать столь человеческому нашему желанию жить. Это и в самом деле было полнейшей дискредитацией. Интересно бы знать, как же мне теперь вправлять этот вывих, которого быть не могло, не могло, ибо прецедентов не было, ибо ничего даже отдаленно подобного не предусмотрено в уставах и наставлениях, спрашивала себя смерть, главным образом потому, что виолончелист должен был умереть в сорок девять лет, а никак не в пятьдесят. Было видно и очевидно, что бедолага-смерть находится в полной растерянности, что до такой степени сбита с толку, что вот-вот начнет в отчаянии биться головой об стенку. За столько тысячелетий ее бесперебойной деятельности ни разу еще не случилось такого оперативного провала — и надо же, чтобы именно теперь, когда в классическую схему отношений смертных с единственной и неповторимой *causa mortis* она привнесла кое-какие новшества, по ее репутации, такими трудами завоеванной, был нанесен столь жестокий удар. Так что же делать-то, вопро-

шала она, ведь если представить себе, что он не помер, когда следовало, и таким образом оказался вне моей досягаемости, то как же прикажете сей финик раскусить. Смерть взглянула на косу, верную свою спутницу, непременно участницу множества кровавых расправ, но та притворилась, будто ничего не понимает — она вообще предпочитала помалкивать, а сейчас и вовсе стоит с видом полнейшего безразличия и глубокого омерзения ко всему миру, и клинок ее, сточенный, выщербленный и заржавелый, покоится на белой стене. И тут смерть осенило: Принято говорить, что где один — там и другой, а где другой — там и третий, потому что бог троицу любит, вот и поглядим, так ли это на самом деле. Она прощально взмахнула правой рукой, и дважды возвращавшееся письмо исчезло. Но не прошло и двух минут, как оно вновь оказалось на столе. Почтальон не позвонил снизу, не подсунул его под дверь, однако же оно было тут.

Смерть, ясное дело, не заслуживает жалости. Слишком многочисленны и оправданны были наши пени, чтобы сейчас мы опустились до сострадания, ею-то по отношению к нам не проявляемого никогда, ибо она с нами не миндальничала, хоть и знала лучше, чем кто-либо еще, с каким губительным и убийственным упорством неизменно и во что бы то ни стало добивается своего. И все же, все же, пусть хоть на краткий миг, но оказавшаяся перед нами фигура больше напоминает аллегорическую статую отчаянья, нежели то зловещее существо, что — если верить умирающим, обладавшим зорким глазом — возникает в изножье нашей кровати на исходе последнего срока и легким движением руки, подобным тому, каким отсы-

лает она письма, подает нам знак, только знак этот, так сказать, с обратным знаком: не ступай прочь, но — иди сюда. Из-за какого-то загадочного оптического эффекта, реального или умопостигаемого, смерть кажется гораздо меньше ростом и щуплее, словно костяк у нее ужался, хотя, быть может, он всегда таким и был, а казался крупнее лишь в вытаращенных глазах страха, которые, как известно, велики. Бедняжка смерть. Даже как-то тянет положить ей руку на жесткое костяное плечо и прошептать на ухо — вернее в то место чуть ниже теменной кости, где оно раньше помещалось — что-нибудь ласковое: Не убивайтесь; госпожа смерть, всякое бывает, у нас, у здешних, у людей то есть, накоплен огромный опыт неудач, провалов, разочарований, а мы — глядите-ка — не опускаем руки, и вспомните-ка лучше времена давние, когда вы косили нас во цвете лет, и недавние, можно сказать теперешние, когда вы с таким же беспощадным жестокосердием продолжаете поступать так же по отношению к людям, напрочь лишенным всего, что необходимо для жизни, и не исключено, что пришла пора посмотреть, кто раньше выдохнется — вы, сударыня, или мы — и мы понимаем, понимаем, как горько у вас на душе, первое поражение больней всего, дай бог, не в обиду вам будь сказано, не последнее, постепенно привыкнете, притерпитесь и, поверьте, я говорю это не в отместку, ибо слишком уж убогая вышла бы месть, все равно как показать язык палачу, собирающемуся отрубить нам голову, и, должно быть, поэтому мне страшно любопытно, как вы сумеете выпутаться из этой передраги с письмом, которое ходит взад-вперед, и с виолончелистом, который не может

умереть в сорок девять лет, потому что ему уже исполнилось пятьдесят. Смерть нетерпеливо дернула плечиком, стряхивая руку дружеского участия, и поднялась со стула. Сейчас она опять кажется крупнее и выше, что вы хотите — владетельная особа, и когда пойдет, взвихривая пыль краем свисающего савана, от поступи ее содрогнется земля. Смерть рассержена. Сейчас самое время показать ей язык.

За исключением редчайших случаев, уже упомянутых выше, когда умирающие, наделенные особой зоркостью, могли различить в ногах своего одра классический призрак, окутанный белым, или, как это, судя по всему, случилось с прустом¹, — тучную даму в черном, смерть отличается большой скромностью и предпочитает не афишировать свое присутствие, особенно — если обстоятельства вынуждают ее выйти на улицу. Вообще бытует представление, что смерть, будучи решкой той монеты, орлом коей является бог, — невидима, как и он. Это не совсем так. Мы — заслуживающие доверия свидетели тому, что смерть — это скелет, завернутый в белую простыню, что живет она в компании старой, заржавленной, не отвечающей на вопросы косы, в холодной комнате, где вдоль выбеленных стен стоят покрытые паутиной десятки стеллажей с огромными выдвижными ящиками, битком набитыми формулярами. Понятно, стало быть, что смерть не хочет появляться на людях в таком непрезентабельном виде — во-первых, по причинам эстетического свойства, а во-вторых, во избежание того, чтобы несчастные прохожие, завернув, к примеру, за

¹ Марсель Пруст (1871–1922) — французский писатель.

угол, окочурились со страху, увидав огромные пустые глазницы. Так что смерть делается невидимой исключительно при большом стечении народу, и этот факт смогли в критический момент подтвердить писатель марсель пруст и прочие зоркие умирающие. Иначе обстоит дело с богом. Он, как ни старался, так никогда и не предстал взору человеческому — и не потому, что не мог, ибо для бога, как известно, невозможного нет, а потому, что просто-напросто не знал, в каком обличье явиться тем, кого, как принято считать, он сотворил, поскольку велика вероятность того, что он их не узнает, или — а это, пожалуй, еще похуже будет — что они не узнают его. Кое-кто считает большой удачей для нас, что бог не желает являться нам здесь, ибо детскими игрушками покажется страх смерти по сравнению с тем ужасом, который обуяет нас в этом случае. Ну, как бы там ни было, все, что говорится о боге и о смерти, — не более чем рассказы, и наша история — всего лишь одна из них.

Смерть между тем решила отправиться в город. Сняла простынку, составлявшую всю ее одежду, аккуратно сложила и повесила на спинку стула, на котором, как мы видели, недавно сидела. Если не считать этого стула да стола, ну и, разумеется, стеллажей и косы, ничего больше не было в комнате, снабженной узкой дверью, ведущей неизвестно куда. Поскольку это — единственный выход, логично предположить, что через него смерть и отправится в город. Как бы не так. Без простыни смерть снова словно ужимается в размерах: росту в ней в переводе на человеческие габариты и так-то — не больше ста шестидесяти шести или ста шестидесяти семи сантиметров, а в голом ви-

де, без единой ниточки, она кажется еще меньше и походит на скелетик подростка. Кто бы мог подумать, что это — та самая смерть, которая так яростно стряхнула нашу руку со своего плеча, когда мы, движимые совершенно незаслуженным ею состраданием, попытались было утешить ее. И в самом деле — нет на свете ничего более нагого, нежели скелет. Ведь при жизни он облечен мало того что плотью и кожей, так еще и, если не снимает ее для умывания или иных, более сладостных, процедур, одеждой, которой вышеупомянутая плоть любит прикрываться. Сведенный же ко всамделишной своей сущности, то есть превратясь в некий полуразобранный каркас существа, существовать давным-давно переставшего, он, кажется, вот-вот исчезнет. Именно это сейчас и произойдет. У нас на глазах — округлившихся от изумления — кости вдруг утрачивают не только плотность фактуры, но и четкость очертаний, расплываются во всех смыслах слова, переходя из твердых тел в газообразные и образуя нечто подобное туману, как будто скелет испаряется и превращается в смутный очерк, сквозь который можно видеть ко всему безразличную косу, и вот уже смерть исчезла, была и нету, то есть, может быть, и есть, да нам ее не видно, а может быть, просто пронизала пол подвала, и толщу земли под ним, и, как сама для себя решила после третьего возвращения письма, направленного виолончелисту, — ушла. Мы даже знаем, куда. Она не может убить виолончелиста, но хочет увидеть его, оказаться перед ним, прикоснуться к нему, оставаясь незамеченной. Она уверена, что сумеет отыскать способ уничтожить его как-нибудь на днях, не слишком при этом нарушая правила,

а пока — желает узнать, что представляет собой человек, до которого не доходят ее предуведомления, какими дарованиями он наделен, если, конечно, дело в этом, а не в том, что он по простодушию своему и недомыслию продолжает жить, даже не подозревая, что должен быть мертв. И мы, заточенные в этой холодной комнате без окон и с узкой дверью, неизвестно для чего служащей, не замечаем, до чего же быстро летит время — три утра, и смерти давно уже пора быть у виолончелиста.

Так оно и есть. Среди того, что сильно утомляет смерть, на почетном месте стоит усилие, которое она должна применять по отношению к самой себе, когда не желает видеть все, что одновременно и повсюду предстает ее взору. Вот и в этом она подобна богу. Рассмотрим вопрос более подробно. Хотя это обстоятельство не включено в перечень данных, поддающихся проверке человеческим чувственным опытом, мы все же с детства привыкли верить, что бог и смерть, две верховных вершины, пребывают разом повсюду, то есть вездесущи. А на самом деле вполне возможно, что когда мы думаем и тем более — когда говорим об этом, то, если вспомнить, с какой легкостью срываются слова с наших уст, не вполне отчетливо сознаем смысл и значение произносимого. Легко сказать: бог — вездесущ и вездесуща смерть, но, говоря так, мы сами не замечаем, что если они пребывают одновременно повсюду, то поневоле в каждой из бесчисленных частиц мироздания должны видеть все, что она может предъявить. И если нелепой самонадеянностью было бы ждать от бога, просто по должности обязанного пребывать во всей вселенной — иначе ему не

было бы ни малейшего смысла ее создавать, — что он будет питать какой-то особый интерес к творящемуся на сотворенной им маленькой планетке земля, тем па-че, что — и это никому почему-то не приходит в голо-ву — ему она известна совсем под другим именем, то смерть, та самая смерть, о которой несколькими стра-ницами выше сказано было, что она повязана с родом человеческим на эксклюзивных условиях, ни на миг не спускает с нас глаз, так что даже те, кому пока еще не пришла пора умирать, чувствуют на себе этот неот-ступно преследующий их взгляд. В общем, можно се-бе представить, какие поистине титанические усилия приходилось предпринимать смерти в тех редких слу-чаях, происходивших в нашей общей истории, когда она по каким-либо причинам должна была понизить свою могучую перцепцию до уровня человеческих су-ществ, а проще говоря — видеть все по очереди, пре-бывать в каждую отдельную минуту в одном лишь ме-сте. В данном конкретном случае нас занимает лишь объяснение того, почему она застряла у дверей дома виолончелиста. А вот почему: на каждом шагу — а слово это употреблено нами исключительно ради того, чтобы помочь воображению наших читателей, а не по-тому, что смерть движется так, словно и в самом деле перебирает нижними конечностями — так вот, на каждом шагу смерть должна побарывать столь прису-щую ее природе экспансивную, по-научному говоря, тенденцию, которая, дай ей волю, со звонким хлопком рассеет в пространстве непрочное и неустойчивое, це-ною таких трудов и усилий сколоченное и пригнанное соединение. Жилище виолончелиста, не получившего уведомления на лиловой бумаге, относится к эконом-

классу, но при этом больше пристало бы мелкому буржуа без особенных перспектив, чем питомцу евтерпы¹. В полутьме коридора едва виднеются пять дверей: одна в глубине — и о ней сразу скажем, чтобы уж не возвращаться к этому вопросу, что она ведет в ванную, — и еще по две с каждой стороны. Первая слева — с нее смерть и решила начать осмотр — открывается в маленькую столовую, носящую явственные признаки того, что она — почти нежилая, и примыкающую, в свою очередь, к еще меньшей кухне, оборудованной самым необходимым. Затем — снова в коридор и — вот дверь, которой не пользуются, то есть не закрывают и не открывают, что противоречит очевидности, ибо дверь, про которую говорят, что она не открывается и не закрывается, есть все же дверь закрытая и не могущая быть открытой. Ясно, что смерть могла бы пронизать и ее, и все, что за нею находится, но не затем она положила столько трудов на собиранье себя воедино и обретение определенной, пусть и невидимой для посторонних, но более или менее человекоподобной формы, хоть и не до такой, как мы уже говорили, степени, чтобы предусмотреть обладание нижними конечностями, так вот, не затем, чтобы подвергать себя опасности расслабиться и рассеяться среди древесных волокон двери или шкафа, который, вне всякого сомнения, за этой дверью стоит. И потому смерть прошла по коридору до первой двери справа от входа и уже через нее проникла в музыкальный салон — ну а как еще назвать помещение, где находятся открытый рояль и виолончель, пюпитр с тремя

¹ Одна из девяти муз, покровительница лирической поэзии.

фантазиями опус семьдесят три Роберта Шуманна¹, как прочла она в свете уличного фонаря — в неярком, оранжевого оттенка свете, лившемся в оба окна, и еще сваленные там и тут стопки нот, и книжные полки, где литература, судя по всему, уживалась с музыкой в самой совершенной гармонии, которая, побывав некогда дочерью Ареса и Афродиты, ныне стала наукой о согласовании аккордов. Смерть погладила струны, мягко провела кончиками пальцев по клавишам, но различить исторгнутые ею звуки — протяжную и низкую виолончельную жалобу, краткий птичий щебет рояля — смогла лишь она одна, ибо то, что не воспринимает человеческий слух, ей, на протяжении стольких лет учившейся истолковывать значение вздохов, предстает внятными и отчетливыми. А вот здесь, в соседней комнате, вероятно, спальня. Дверь туда открыта, и тьма, хоть она там еще гуще, позволяет все же различить очертания кровати и лежащего на ней тела. Смерть подходит ближе, переступает порог, но тотчас замирает в нерешительности, ощутив в комнате присутствие не одного, а двух живых существ. Зная, пусть и не на собственном опыте, кое-какие стороны жизни, смерть подумала было, что виолончелист делит ложе и проводит ночь с человеком, который, пока еще не пришло ему лиловое письмо, пользуется в этом доме уютом тех же простыней и теплом того же одеяла. Смерть подходит еще ближе, так близко, что едва не задела бы, будь это возможно, ночной столик, и видит, что нет, на кровати — один. Но по ту сторону ее, свер-

¹ Роберт Шуманн (1810–1856) — немецкий композитор и музыкальный критик.

нувшись на ковре клубком средних размеров и темной шерсти, то есть скорей всего — черной масти, спит пес. Сколько помнится, смерть впервые удивилась, подумав о том, что не предназначалась бы она исключительно для людей, это животное еще не так давно тоже оказалось бы вне досягаемости ее символической косы и не в ее власти было бы хоть слегка коснуться его, и потому спящий пес тоже обрел бы бессмертие, если бы, конечно, его собственная смерть — другая, та, попечению которой поручены живые существа, относящиеся к миру растительному и миру животному, уподобилась смерти первой, и тогда у кого-нибудь появились бы прекрасные основания начать новую книгу словами: А на следующий день никто не умер. Человек на кровати пошевелился: быть может, он и во сне продолжал исполнять три пьесы Шуманна и сфальшивил; виолончель ведь — не рояль, у которого все ноты всегда — на своих местах, каждая — под своей клавишей, тогда как у виолончели они рассеяны по всей протяженности струн, их надо отыскивать, фиксировать, в нужный момент двинуть смычком с должным нажимом и под должным углом, так что ничего нет легче, чем взять одну-две неверных ноты, особенно когда играешь во сне. В тот миг, когда смерть чуть наклонилась, чтобы получше разглядеть лицо музыканта, в голове у нее промелькнула поистине гениальная идея: в ее картотеке к каждому формуляру надо будет прикрепить фотографию — да не какую попало, а такую, чтобы, подобно личным сведениям об этом персонаже, с течением времени постоянно и автоматически обновлялась, отражая происходящие в нем изменения: от красного и смор-

щенного новорожденного на руках у матери до нынешнего его облика, когда мы то и дело спрашиваем себя: Да неужели мы — те, какими были когда-то, или же какой-то чародей каждый час заменяет нас на кого-то другого. Спящий вновь пошевелился, показалось на миг, что вот-вот проснется, но нет: дыхание выровнялось, обрело прежний ритм — тринадцать вдохов-выдохов в минуту, и левая рука лежит на груди, у сердца, словно улавливая пульсацию, чередование систолы и диастолы, а правая с повернутой кверху ладонью и слегка согнутыми пальцами как будто ждет, когда обе будут сложены крестом. Спящий кажется старше своих пятидесяти, уже исполнившихся, лет, хоть и ненамного, а может быть, он просто устал, или ему грустно, но все это мы узнаем, когда он откроет глаза. Волос уже немного, а какие остались — седые. Не красавец, не урод, обыкновенный мужчина. Глядя на этого лежащего на спине человека, одетого в полосатую пижаму, выглядывающую из-за отворота простыни, не подумаешь и не скажешь, что это — первая виолончель городского симфонического оркестра, что жизнь его течет меж пяти магических линеек нотного стана и, может быть, в поисках глубинного сердца музыки — пауза, звук, систола, диастола. Смерть, все еще досадуя на сбой в государственной системе связи, но уже остыв от злобы, которую испытывала по дороге сюда, всматривается в спящее лицо, и в голове ее проплывают смутные мысли о том, что человека этого уже не должно быть, что это ровное дыхание, перемежающее вдохи и выдохи, уже должно было пресечься, а сердце, оберегаемое левой рукой, — опустеть и остановиться, сократиться в последний

раз и замереть навсегда. Смерть пришла сюда посмотреть на этого человека, и вот она видит его, и нет в нем ничего такого, что объяснило бы трехкратное возвращение лилового письма, и лучше всего бы ей вернуться в свою холодную подвальную комнатку, чтобы измыслить способ покончить с проклятой случайностью, благодаря которой этот пыльщик, пилильщик, распиливатель виолончелей пережил самого себя. Две эти окрашенные досадой словесные парочки — проклятая случайность и распиливатель виолончелей — были произнесены, чтобы подогреть уже остывающую враждебность, но цели своей не достигли. Спящий человек несколько не виноват в том, что случилось с лиловым письмом, и даже отдаленно не может представить себе, что проживает жизнь, уже ему не принадлежащую, и что если бы дела шли так, как должно, он уже неделю как лежал бы в могиле, и черный пес, обезумев, носился бы по городу в поисках своего хозяина или не пил, не ел, ожидая его возвращения у подъезда. На мгновение смерть распустилась, рассеялась, распространилась до стен, заполняя всю эту комнату и перетекая в соседнюю, где одна ее часть заглянула в открытую тетрадь, лежавшую на стуле и содержащую ноты сюиты номер шесть, опус тысяча двенадцать ре мажор, сочиненной иоганном себастьяном бахом¹, и не надо учиться музыке, чтобы знать, что она, равно как и девятая симфония бетховена², написана в радостных тонах о единстве, о дружбе и о

¹ Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) — немецкий композитор, органист, клавесинист.

² Людвиг ван Бетховен (1770—1827) — немецкий композитор, пианист и дирижер.

любви. Тут случилось нечто невиданное и даже невообразимое, потому что смерть упала на колени, вновь обретя все, что надлежит — колени, и ноги, и руки, и ладони, и спрятанное между ними лицо, и плечи, затрясшиеся неизвестно почему — ну не от плача же, не надо ждать столь многого от той, кто, проходя, оставляет за собой поток слез, ни единая из которых ею не пролита. И, оставаясь такой, как была — ни видимая, ни невидимая, ни скелет, ни женщина — она, как вздох, поднялась с пола и вернулась в спальню. Спящий по-прежнему не шевелился. Мне здесь больше нечего делать, подумала смерть, пойду-ка я отсюда, да и стоило ли приходить, чтобы увидеть спящих человека и собаку, может быть, они снятся друг другу, человек видит во сне пса, пес — человека: псу снится, что уже настало утро и он положил голову рядом с головой человека, а человеку снится, что уже настало утро и что левой рукой он обнимает теплое мягкое тело пса и прижимает его к себе. Рядом с дверью, закрытой платяным шкафом, стоит небольшой диванчик, вот на него-то и села смерть — села без заранее обдуманного намерения, внезапно для себя самой припомнив, быть может, холодный подвал, где хранится архив. Глаза ее приходятся как раз на уровень головы виолончелиста, профиль которого отчетливо вырисовывается в оранжевом свечении, льющемся из окон. Смерть повторяет себе, что нет совершенно никаких разумных причин дольше оставаться здесь, и тотчас отвечает, что нет, что одна причина и весьма притом основательная все же имеется: в этом доме — единственном в городе, в стране, в целом мире — находится человек, преступающий самый суровый из всех зако-

нов природы, закон жизни и смерти, закон, который не спрашивал тебя, хотел ли ты жить, и не спросит, хочешь ли умереть. Этот человек — мертв, подумала смерть, каждый, кто должен умереть, — уже мертв, нужно лишь, чтобы я слегка, одним пальцем, подтолкнула его или прислала ему письмо на лиловой бумаге. Этот человек — не мертв, подумала смерть, через несколько часов он проснется, встанет с кровати, как делает каждое утро, откроет дверь в сад, чтобы пес погулял, позавтракает, войдет в ванную и спустя небольшое время выйдет оттуда свежим, умытым и выбритым и, может быть, прихватив пса, отправится на угол за газетой, а может быть, сядет перед пюпитром и сыграет три пьесы шуманна, а потом, может быть, вспомнит о смерти, как свойственно всем на свете смертным, но не будет знать, что сейчас он вроде бы обрел бессмертие, ибо эта самая смерть, которая смотрит на него, решительно не представляет себе, как его убить. Спящий изменил позу, повернулся спиной к шкафу, загораживавшему бездействующую дверь, и свесил правую руку туда, где спал пес. Через минуту он проснулся. Пить захотелось. Он зажег лампу на ночном столике, встал, всунул ноги в шлепанцы, как всегда придавленные головой пса, прошел на кухню. Смерть последовала за ним. Он налил воды в стакан и выпил. В этот миг на кухне появился и пес, утолил жажду из поилки, стоявшей у двери в сад, и поднял глаза на хозяина. Ну, понятно, выйти хочешь, произнес тот. Открыл дверь, постоял, дожидаясь, когда пес вернется. В стакане оставалось еще немного воды. Смерть поглядела на нее, напряженно стараясь вообразить, что это значит — хотеть пить, да не смогла.

ЖОЗЕ САРАМАГО

Точно так же не получалось у нее это, когда где-нибудь в пустыне ей приходилось убивать людей жаждой, но тогда она даже и не пыталась понять. Пес возвращался, повиливая хвостом. Пошли спать, сказал человек. Они вернулись в спальню, пес дважды прокрутился вокруг своей оси, с грохотом обрушился на пол, свернулся в клубок. Человек потрепал его по загривку, два раза кашлянул и вскоре заснул. Сидя в своем углу, смотрела на все это смерть. Уже значительно позже пес поднялся с коврика и влез на диван. Впервые в жизни смерть узнала, что это такое — держать собаку на коленях.

В ЖИЗНИ КАЖДОГО СЛУЧАЮТСЯ МОМЕНТЫ слабости, и если мы обошлись без них сегодня, то завтра получим их без сомнения. И подобно тому, как под бронзой ахиллесова нагрудника бьется чувствительное сердце — вспомним хотя бы ревность, десять лет кряду терзавшую славнейшего ахейского мужа после того, как агамемнон увел у него возлюбленную, пленницу брисеиду, и ужасный гнев, обуявший пелеева сына и побудивший его вернуться на войну, когда его друг патрокл пал от руки гектора — так и сквозь самый непроницаемый панцирь из всех, какие когда-либо были и будут вплоть до последнего и решительного скончания века откованы — вы уж поняли, что имеется в виду скелет смерти — может в один прекрасный день прокрасться нежный виолончельный аккорд или простодушная рояльная трель или случиться так, что всего лишь вид нотной тетради, раскрытой на стуле, заставит тебя вспомнить такое, о чем ты думать не желаешь, такое, что переживать не случилось и, хоть головой об стену бейся, не сможешь пережить никогда, если только не. Ты с холодным вниманием наблюдала за спящим виолончелистом, за человеком, которого не сумела умертвить, потому что явилась к нему —

или за ним — слишком поздно; ты смотрела на свернувшегося клубком пса, сознавая, что даже его тебе не позволено тронуть, ибо он — не в твоём ведении, и два эти живые существа, в теплом полумраке спальни сдавшиеся на милость сну, а о тебе не ведающие, годны лишь для того, чтобы камень неудачи давил на душу еще сильнее. Ты, обладающая привычкой к могуществу, равного которому нет ни у кого, вдруг оказалась бессильна и беспомощна, связана по рукам и по ногам, и твоя лицензия на убийство ноль-ноль-семь¹ в этом доме не действует, и никогда еще, признайся, никогда с тех пор, как ты зовешься смертью, не случилось тебе терпеть подобное унижение. В тот миг, когда ты вышла из спальни в соседнюю комнату, когда преклонила колени перед сюитой номер шесть для виолончели сочинения иоганна себастьяна баха, и плечи твои начали совершать те быстрые движения, которые в представлении людей сопровождают неупержимые рыдания, да, в тот миг, когда твои колени уперлись в твердый пол, ожесточение твое и рассеялось, подобно облачку тумана, в которое ты иногда, когда не хочешь быть совсем невидимой, превращаешься. Ты вернулась в комнату, последовала за виолончелистом, когда тот пошел на кухню выпить воды и выпустить в садик пса; сначала ты видела этого человека спящим, сейчас он проснулся и поднялся, и, вероятно, вертикальные полоски на его пижаме порождают такой оптический эффект — он кажется намного выше тебя, но ведь этого быть не может, это обман зрения, смещение перспективы, вот какова логика

¹ 007 — кодовый номер агента спецслужб Джеймса Бонда, героя романов английского писателя Иэна Флеминга (1908–1964).

фактов, твердящих, что ты, смерть, — больше, больше всех нас и всего на свете. Но не исключено, что так было не всегда, не исключено, что события, происходящие в мире, объясняются случайностью, вот, например, ослепительный лунный свет, запомнившийся музыканту с детства, пропал бы понапрасну, если бы он спал, ну да, случайностью, ибо ты, смерть, снова стала маленькой, когда вернулась в комнату и уселась на диван, и сделалась еще меньше, когда пес, поднявшись с ковра, влез к тебе на диван и приник к твоей, кажущейся девичьей, груди, и тогда тебя посетила прекрасная мысль — ты подумала: нехорошо, несправедливо будет, если смерть — не ты, другая — однажды остудит и оледенит это мягкое животное тепло, да, такая у тебя возникла мысль, и кто бы мог подумать, что ты, столь привычная к арктической или антарктической стуже, царящей в комнате, где ты пребываешь и куда призывает тебя глас твоего зловещего долга, состоящего в том, чтобы убить этого человека, на лбу которого сейчас, во сне, вдруг прорезалась горькая складка, какая бывает у тех, кто ни разу в жизни не делил ложе с чем-то по-настоящему человеческим и кто заключил союз со своим псом на предмет того, что каждый из них будет видеть другого во сне: человек — пса, пес — человека, который встает посреди ночи в своей полосатой пижаме и идет на кухню утолить жажду, хотя, казалось бы, куда проще было бы поставить стакан с водой на прикроватный столик, однако он так не делает, отдавая предпочтение этой прогулке по коридору до кухни в умиротворяющем безмолвии ночи и в сопровождении пса, а тот неизменно идет следом за своим хозяином и

иногда просится наружу, а иногда — нет. Этот человек должен умереть, говоришь ты.

И сейчас смерть вновь становится скелетом, закутанным в хламиду с капюшоном, надвинутым словно бы для того, чтобы скрыть жуть этого черепа, но можно было не трудиться, потому что некого тут пугать зловещим зрелищем, тем более что на виду — лишь оконечности конечностей: нижние покоятся на каменных плитах пола, благо им не дано почувствовать его пронизывающе-ледяного холода, а верхние перелистывают страницы толстого тома, где собраны все когда-либо отдававшиеся смерти приказы, начиная с самого первого — он состоял из одного простого слова, и слово это было «убей» — и кончая самыми свежими приложениями и дополнениями, предусматривающими все возможные способы, все известные варианты смерти, хотя тут уж можно с уверенностью сказать, что список их не будет исчерпан никогда. Смерть не удивил отрицательный результат ее поисков: в самом деле, было бы ни с чем не сообразно, а главное — совершенно излишне, если бы в книге, где для любого и каждого представителя рода человеческого определены его точка, финал, приговор, смерть, появились бы ни с того ни с сего такие слова, как «жизнь» и «жить», как «живу» и «буду жить». В этой книге есть место лишь для смерти и нет даже упоминаний о каких-то нелепых предположениях, будто кому-то когда-то удалось смерти избежать. Это — нечто невиданное. Впрочем, если как следует поискать, можно найти глагольную форму «я прожил», лишь единожды употребленную в необязательной для чтения подстрочной сноске, но никто всерьез не отважи-

вался на подобное усердие и такую дотошность, что заставляет подозревать существование более чем веских доводов за то, что самый факт этого прожитья не заслуживает упоминания в книге смерти. И полезно будет узнать, что другое ее название — «книга ничего». Скелет отодвинул сборник уложений в сторону и поднялся. Как всегда, когда надо проникнуть поглубже в суть, он дважды обошел комнату кругом, затем выдвинул ящик каталога, где находился формуляр виолончелиста, и формуляр этот вытащил. Движение это напомнило нам, что настал и — вспомните, что мы говорили о случае — скоро перестанет быть момент, когда следует прояснить важный аспект, связанный с функционированием архивов, аспект, который был уже предметом нашего внимания, но о котором мы по заслуживающей всяческого осуждения небрежности до сих пор не говорили. Прежде всего следует заметить — в опровержение тому, что, быть может, уже нарисовалось в вашем воображении, — что десять миллионов карточек, заполняющих эти ящики, не были заполнены рукою смерти. Еще чего не хватало: она — смерть, а не какая-нибудь канцелярская крыса. Формуляры появляются на своих местах, то есть в строгом алфавитном порядке, в тот самый миг, когда люди рождаются на свет, а исчезают — когда люди умирают. Раньше, до внедрения писем лилового цвета, смерть даже не давала себе труда открывать ящики, появление и исчезновение формуляров происходило без сбоев и накладок, и не сохранилось воспоминаний о столь плачевных сценах, когда одни говорили, что, мол, не хотят рождаться, а другие — что возражают против своей кончины. Карточки сих

последних сами собой, без всякой посторонней помощи, попадают в комнату, расположенную под этой, а верней сказать — занимают свое место в подземных помещениях, ярус за ярусом уходящих все ниже и ниже, все ближе и ближе к пылающему центру земли, где весь этот исполинский ворох бумаг в конце концов и сгорает. А здесь, в комнате, где находятся смерть и ее коса, было бы невозможно установить критерий, принятый тем делопроизводителем отдела записи гражданского состояния¹, который решил объединить в одном архиве имена и документы — все, все имена и документы, принадлежавшие вверенным его попечению живым и мертвым, — полагая, что только вместе смогут они представить человечество так, как надлежит его понимать, то есть некое абсолютное «всё», не зависящее ни от времени, ни от места, ибо разделять их было бы покушением на дух. Существует огромная разница между здешней смертью и тамошним рассудительным хранителем документов: покуда она тщеславится олимпийским презрением, с каким взирает на покойников — и здесь уместно будет вспомнить жестокую, столько раз повторенную фразу: Кто говорит о прошлом, сам проходит, — он, наш архивариус, благодаря тому, что в современном языке именуется «исторической совестью», твердо придерживается мнения, что живых ни в коем случае не следует отделять от мертвых, ибо в этом случае не только мертвые пребудут мертвыми навсегда, но и живые лишь наполовину проживут свои жизни, даже если будет сужден им мафусаилов век, о коем бытуют раз-

¹ Здесь и далее до конца абзаца автор отсылает читателей к своему роману «Все имена» (1998).

ные мнения: масоретские тексты ветхого завета уверяют, что длился он девятьсот шестьдесят девять лет, тогда как самаритянское пятикнижие¹ отпустило ему всего лишь семьсот двадцать.

Смерть изучает формуляр, не находя в нем ничего такого, чего не видела раньше — то есть биографии музыканта, который уже неделю как должен быть мертв, но, невзирая на это, продолжает спокойно жить в своей артистической берлоге с черным псом, любящим взбираться на диван и класть голову на грудь дамам, с виолончелью и роялем, со своей ночной жаждой и полосатой пижамой. Должен быть способ решить эту головоломку, подумала смерть, конечно, самое лучшее было бы решить вопрос, не привлекая к нему внимания, но ведь если высшие инстанции существуют не только для того, чтобы благосклонно внимать хвалам и принимать почести, то вот и представился прекрасный повод показать, что не остаются равнодушны к тем, кто внизу, на земле, так сказать, тяжело трудится в поте лица, — изменить свои уложения, разрешить принять исключительные меры, позволить, раз уж дело того требует, деяние не вполне законное: все лучше, чем допустить, чтобы подобное скандальное происшествие имело продолжение. Самое забавное, что смерть не вполне отчетливо представляет себе, какие такие высшие инстанции должны решить эту головоломку. Да, конечно, в одном из своих писем, опубликованных в газетах, она упоминала о смерти всеобщей, которая, неведомо, правда, когда,

¹ Рукописные тексты, обнаруженные в 1947 г. в районе Мертвого моря и существенно отличающиеся от канонизированного современным иудаизмом, а также и христианством масоретского текста.

уничтожит все — все до последнего микроба — проявления жизни во вселенной, однако помимо того, что это относится к категории философской очевидности, ибо ничто, включая саму смерть, не может продолжаться вечно, свелось оно, упоминание это, говоря практически, к выводу, который, хотя и не подкреплён сведениями, полученными опытным путем, основан на здравом смысле и давно уже бытует среди участковых смертей. Да, многое сделали они для сохранения веры в смерть универсальную, до сих пор не проявившую ни малейших признаков этого своего воображаемого могущества. Это мы, участковые, продолжала размышлять смерть, работаем по-настоящему, это мы очищаем землю от всяческих наростов, и, по совести сказать, я нисколько не удивилась бы, исчезни сам космос — и не от торжественного провозглашения всеобщей смерти, прогремевшего меж галактик и черных дыр, а в результате скопления мелких, частных, отдельных смертяшек и смертушек: ну, вот как если бы та курочка из поговорки не по зернышку клевала, зернышко за зернышком набивая себе зоб, а, наоборот, зернышко за зернышком зоб опорожняя, и, сколь бы глупо это ни выглядело, мне представляется, что именно так происходит с жизнью, которая сама приуготовляет свой конец, не нуждаясь в нас, не ожидая, что мы протянем ей руку помощи. Так что более чем понятна растерянность смерти. Ее уже так давно выпустили и поместили в этот мир, что уж и не вспомнить, от кого получила она строгие инструкции по неукоснительному исполнению возложенного на нее поручения. Дали ей в руки устав, указали в качестве единственной путеводной звезды на слово «убивай» и,

не заметив, скорей всего, какая мрачная ирония кроется в этих словах, сказали, что, мол, иди, живи. Она и пошла, рассудив, что в случае каких-то сомнений или недоразумения спину ей, так сказать, прикроют: всегда найдется кто-то — вождь, босс, некое начальство, духовный руководитель, — у которого можно будет попросить совета и вразумления.

Плохо верится, однако — и тут мы наконец приступаем к холодному и бесстрастному изучению ситуации, сложившейся в случае со смертью и виолончелистом, — чтобы столь совершенная информационная система, которая на протяжении тысячелетий поддерживает образцовый порядок в этих архивах, постоянно обновляя базы данных, заставляя появляться или исчезать формуляры рождающихся или, соответственно, умирающих, так вот, повторим, плохо верится, чтобы такая система оказалась до того примитивна и до такой степени лишена обратной связи, чтобы этот самый информационный центр, где бы он ни располагался, не получал бы в свой черед ежедневную сводку о деятельности смерти. А если бесперебойно получает, но никак не реагирует на чрезвычайное сообщение о том, что кто-то вот не помер, когда должен был, то, значит, одно из двух: либо, наперекор нашим логическим умозаключениям и вопреки ожиданиям, этот эпизод интереса не представляет и, стало быть, никто не чувствует себя обязанным вмешаться и навести порядок, либо подразумевается, что смерть, опять же вразрез с собственными думами и помыслами, имеет карт-бланш решать по собственному усмотрению любые проблемы, возникающие в повседневных ее трудах и заботах. Нужно было, чтобы слово «сомнение»

возникало на этих страницах не раз и не два, чтобы в памяти смерти вдруг всплыл некий параграф из уложения, который, будучи напечатан мелким шрифтом подстрочного примечания, не привлекал внимания и оставался до поры неприметен. Отложив карточку виолончелиста, смерть взялась за книгу. Она знала, что искомое должно находиться не в приложениях, а где-то в начальной, самой древней и потому реже других просматриваемой части уложения. В сомнительных случаях, отыскав нужное место, забормотала себе под нос смерть, смерти надлежит в наикратчайшие сроки и в соответствии с приобретенным ею опытом всемерно способствовать исполнению *desideratum*¹, во всех и при любых обстоятельствах направляющее ее действия, имеющие целью прекращение жизни по истечении ее, при рождении определяемого срока, даже если во исполнение вышеуказанного возникнет необходимость применения методов, выходящих за пределы общепринятых и допускаемых в ситуациях, когда реализация фатального замысла сталкивается с аномальным сопротивлением объекта или при аномальном стечении обстоятельств, которые не могли быть учтены и предусмотрены при составлении настоящего руководства. Смысл всей этой канцелярщины предельно ясен — руки у смерти развязаны, и действовать она может по своему усмотрению. И, как покажет исследование, к которому мы переходим, нет здесь ничего нового. А если есть — поглядим. Когда смерть на свой страх и риск вздумала с первого января текущего года приостановить свою деятельность,

¹ Искомое, желанное, требуемое (лат.).

не подумала она, пустоголовая, о том, что некая вышестоящая инстанция может спросить с нее отчета за такую беспримерно глупую выходку, а равно и о том, что и на ее колористическое решение — то бишь на лиловые письма — эта же или еще более высокая инстанция может взглянуть косо. Да, вот какие опасности проистекают от машинальности, от убаюкивающей рутинности, от губительной привычности. Если некто — человек или смерть: разницы в данном случае нет никакой — изо дня в день ревностно и скрупулезно, ни в чем не сомневаясь, ни о чем не спрашивая, исполняет свою работу, все внимание уделяя тому лишь, чтобы следовать предначертанному свыше, и если по прошествии известного срока никто не сунет нос, интересуясь тем, как именно справляется этот некто с возложенными на него обязанностями, то с полнейшей определенностью можно предречь: он или она, сами того не замечая, очень скоро начнут вести себя так, словно повелевают и безраздельно владеют всем, что делают, причем определяют не только что́ делать, но также — как и когда. Вот вам единственное разумное объяснение того, почему смерть не сочла нужным ни у кого спрашивать позволения, когда принимала и приводила в действие трансцендентные решения, о коих всем нам известно и без коих наше поведование — уж не нам судить, к счастью или к несчастью — было бы невозможно. Но она об этом даже не подумала. И вот теперь, как ни странно, в тот самый миг, когда надулась она спесью от сознания того, что ей одной дана власть распоряжаться человеческими жизнями, и того, что она ни перед кем — ни сегодня и никогда — не обязана в этом отчитываться, в

тот самый миг, когда угар тщеславия окончательно вскружил ей голову, — поняла смерть, что не в силах отделаться от робкой мысли о человеке, который каким-то чудом в самое последнее мгновение сумел ускользнуть от нее.

Тем не менее самодержавной владычицей смерть сейчас встает со стула. Не в этом бы выстуженном подвале сидеть ей, будто заживо похороненной, а на вершине самой высокой горы — управлять судьбами мира, благосклонно взирать на человечье стадо, которое без толку снует и мечется, будто не понимая, что все обречены одной и той же судьбе, что шаг назад приблизит к смерти так же точно, как шаг вперед, что все всем равны, ибо всему приходит один конец — тот, о котором какая-то часть тебя всегда должна думать, ибо думы эти — несмываемое клеймо твоей принадлежности к роду людскому. Смерть держит в руке музыкантов формуляр. Она сознает, что должна что-то с ним сделать, сознает, да не знает пока еще, что именно. Но прежде всего следует успокоиться, подумать, что сейчас она — не больше смерть, чем была ею прежде, а просто больше в этом уверена: вот единственное различие между прежде и сейчас. А во вторых, наконец-то появившаяся возможность свести счета с виолончелистом — еще не повод забывать о дневной порции писем. Только успела подумать — и сами собой легли на стол двести восемьдесят четыре карточки: половина — мужчин, половина — женщин — и вместе с карточками оказались там же двести восемьдесят четыре листка бумаги и двести восемьдесят четыре конверта. Смерть снова опустилась на стул, придвинула к себе карточку виолончелиста и начала

писать. Сквозь устье песочных часов проскользнула последняя песчинка, когда смерть поставила свою подпись на двести восемьдесят четвертом письме. Еще час спустя запечатанные конверты были готовы к отправке. Смерть взяла тот, что трижды отсылался и трижды возвращался, положила его на стопку лиловых конвертов: Дам тебе последний шанс, промолвила она. Привычно двинула левой рукой — и письма исчезли. Десяти секунд не прошло, как письмо, посланное виолончелисту, вновь и совершенно беззвучно появилось на столе. Что ж, что хотел, то и получишь, сказала тогда смерть. Зачеркнула в формуляре дату рождения, написала новую, на год позже, потом в графе «возраст» исправила пятьдесят на сорок девять. Так делать нельзя, сказала из угла коса. Уже сделано. Могут быть последствия. Только одно. Какое же. Смерть проклятого виолончелиста, который развлекается за мой счет. Но ведь он, бедный, не знает, что уже должен быть мертв. А мне все равно, знает или нет. Как бы то ни было, ты не имеешь права вносить изменения в карточку. Ошибаешься, есть у меня все права, и вся власть, и полная моя воля, и, заметь, что никогда еще не была я такой, какой стала с сегодняшнего дня. Даже не подозреваешь, во что ввязалась, предупредила коса. В целом мире есть лишь одно место, куда смерть войти не может. Это какое же. Его называют по-разному — урной, гробом, упаковочкой, деревянным бушлатом, склепом, саркофагом, и вот туда мне доступа нет, туда входят лишь живые, разумеется, после того, как я их убью. Сколько слов по одному и печальному поводу. Такое за нами водится: никак не выговоримся.

УСМЕРТИ ЕСТЬ ПЛАН. Перемена года рождения была всего лишь самым первым ходом в операции, где будут — мы уже сейчас можем это сказать — задействованы совершенно исключительные методы, невиданные за всю историю взаимоотношений человеческого рода с заклятым его врагом. И, как в шахматной партии, смерть пошла королевой. Еще несколько ходов приведут к шаху и мату, обеспечив победу. Здесь позволительно будет осведомиться, почему смерть не восстановила статус-кво, не вернулась к тому положению, когда люди умирали просто-напросто оттого, что должны были умереть, и не ждали, когда почтальон доставит им письмо в лиловом конверте. Вопрос — логичен, но и ответ будет не хуже. Речь все же и прежде всего идет об ущемленном самолюбии, о профессиональной гордости, о затронутом достоинстве, а потому для смерти вернуться к невинности прежних времен значило бы в глазах всего света расписаться в собственном поражении. Стало быть, уморить виолончелиста следует именно в рамках проекта лиловых писем, раз уж он запущен. Давайте поставим себя на место смерти — и тогда признаем основательность ее резонов. Ну, разумеется,

как уж четырежды имели мы удовольствие видеть, главная задача — доставка порядком потрепанного письма адресату — остается нерешенной, и во исполнение этой вожденной цели — пресловутой деизидераты — применены будут, как опять же указывалось выше, чрезвычайные средства. Не следует, впрочем, забегать вперед, а лучше поглядим, чем занята смерть в данный момент. А занята смерть в данный момент тем же, чем и всегда, то есть, если употребить расхожее выражение, пребывает — не обольщайтесь созвучием: никуда она не прибывает, а пребывает — одновременно повсюду. Ей нет необходимости гоняться за людьми, которых хочет поймать: она всегда окажется там же, где они. Теперь, благодаря новой технологии — уведомление по почте — она могла бы спокойно сидеть в своем подземелье, ожидаючи, когда почта выполнит за нее всю работу, но деятельная, беспокойная ее натура не терпит стеснения, а требует воли. Недаром же гласит старинная поговорка, что как волка ни корми и так далее. Вот и смерть, фигурально выражаясь, отправляется в лес. Нет-нет, она больше не сделает глупости, не проявит непростительной слабости, не подавит то лучшее, что есть в ней, — возможность безграничной экспансии — и, стало быть, не будет действовать, как прошлой ночью, проведенной в доме виолончелиста, когда ценой бог знает каких усилий сумела ужаться, собраться и остаться на последнем пределе видимости, не переходя за него. В тысячу первый раз повторим: смерть — вездесуща и, значит, присутствует и у музыканта дома. Пес спит на солнце во двореке, ожидая возвращения хозяина. Он не знает, куда тот пошел и зачем, а если искушение двинуть-

ся по его следам и посетило собачью душу, то пес сразу его отверг, ибо обескураживающе многочисленны те дурные и хорошие запахи, которые источает столичный город. Не станем думать, будто собаки знают о нас что-то — равным счетом ничего они не знают. Вот смерть — дело другое: смерть знает, что виолончелист сидит на сцене театра, справа от дирижера, то есть там, где и положено находиться его инструменту, смерть видит, как правая его рука водит смычком, а левая проворно — даром, что левая — снует вверх-вниз по струнам, в точности как совсем недавно в полутьме делала сама смерть, хоть никогда ни на чем не играла и не знает даже самых начатков музыкальной грамоты. Дирижер стуком палочки по краю пюпитра прервал репетицию, чтобы сделать замечание и высказать пожелание: здесь виолончели — да-да, именно виолончели — должны звучать совсем неслышно, и музыканты показывают, что без особенного труда расшифровали эту акустическую шараду — таково уж оно, искусство: есть в нем много такого, что непосвященному кажется невозможным, а на самом деле — нет. Излишне говорить, что смерть заполняет собой весь театр доверху, до потолка, расписанного аллегорическими композициями, и до исполинской, сейчас погашенной люстры, но взирать на происходящее предпочитает из ложи, расположенной немного наискосок от сцены, но выше ее уровня и ближе к струнным, имеющим низкий тон — то есть альтов, в скрипичном семействе поющих партию контральта, виолончелей, соответствующих баритонам, и контрабасов, обладающим самым грубым голосом. Вот там, на узком стульчике, обитом пунцовым бархатом, она

сидит и не сводит глаз с виолончелиста за первым пультом — того самого, которого видела спящим, который носит полосатую пижаму, у которого есть пес, сейчас дремлющий на солнце во дворе и поджидающий возвращения хозяина. Вот он — ее человек: виолончелист, музыкант — и не более того, такой же, как почти сотня других мужчин и женщин, рассеявшихся полукругом перед своим собственным шаманом, то бишь маэстро, и как-нибудь на днях, на будущей неделе, в следующем месяце, в наступающем году они получат лилового цвета письмо и освободившееся место займет другой скрипач, флейтист, трубач, и, быть может, уже другой шаман будет махать перед ними палочкой, заклиная звуки: жизнь вообще подобна постоянно играющему оркестру, звучащему то слаженно, то вразброд, или «титанику», что вечно погружается в пучину и неизменно поднимается на поверхность, и в этот миг смерть думает, что ей нечего будет делать, если погружающийся корабль никогда больше не сможет всплыть под завораживающую песнь воды, стекающей по борту, и похожую на тот мягкий плеск, с которым некогда омывала она выпуклости и впадины амфитриты в час ее рождения, превращая богиню в ту, кто зыблет воды, ибо именно так переводится это имя. Смерть спрашивает себя, где она сейчас, эта амфитрита, дочь нерей и дориды, где сейчас та, кто, никогда не существуя в действительности, поселилась тем не менее на краткий срок в душе человеческой, чтобы сотворить в ней — тоже ненадолго — верный и особенный способ осмыслять мир, отыскивать смысл в этой самой реальности. И все равно не осмыслят и не найдут, подумала смерть, и ни-

когда ничего не поймут, как бы ни старались, потому что все в их жизни — временно, шатко и неустойчиво, все проходит неостановимо, и боги, и люди, что было — то уже кончилось, что есть — то не навсегда, и даже я сама сойду на нет, когда больше некого будет убивать в классической ли манере или по почте. Мы-то с вами знаем, что уже не впервые подобная мысль вмешивается в течение прочих, каковы бы те ни были, но зато никогда еще не породила она такого огромного облегчения, сравнимого с тем, которое испытываешь, когда после изнурительных трудов медленно укладываешься на отдых. Внезапно оркестр смолк, и слышалась теперь только виолончель: это называется соло — скромное соло, которое продлится не более двух минут, и кажется, будто из сил, призванных шаманом, взметнулся один голос, говорящий от имени всех, кто хранит молчание, и даже сам дирижер замер и глядит на музыканта, оставившего у себя дома на стуле открытую тетрадь с нотами сюиты номер шесть опус тысяча двенадцать ре мажор, сочиненной иоганном себастьяном бахом, сюиты, которую ему никогда не суждено сыграть в этом театре, потому что он — всего лишь виолончелист, пусть даже и самый главный в своей группе, и не принадлежит к числу знаменитых исполнителей, что колесят по всему свету, давая концерты и интервью, принимая цветы и овации, почести и награды, и счастье еще, если время от времени выпадет ему счастье несколько тактов играть соло по милости какого-нибудь великодушного композитора, вспомнившего о правой стороне оркестра, где крайне редко что-либо выходит за рамки рутины. Окончится репетиция — он спрячет инструмент в

футляр, вернется домой на таксомоторе с большим багажником и, вероятно, нынче же вечером после ужина поставит на пюпитр сюиту баха, глубоко вздохнет и тронет смычком струны, чтобы первая извлеченная из них нота примирила его с неизбывными житейскими банальностями, а вторая — позволила забыть о них, а соло меж тем кончилось, и отзвук последнего аккорда заглушен *тутти*¹ оркестра, шаман же, властно взмахнув палочкой, вернулся к своей роли заклинателя и проводника звуковых духов. Смерть гордится тем, как славно ее виолончелист сыграл. Гордится, как близкая родственница, как мать, сестра, невеста, чуть было не сказали «жена», но он ведь никогда не был женат.

Следующие три дня смерть, отлучаясь за тем лишь, чтобы сбегать в свое подземелье, торопливо написать очередные письма и отослать их на почту, стала не то что тенью виолончелиста, а — воздухом, которым он дышал. У тени ведь, согласимся, есть большой недостаток: она незаметна без источника света. Смерть же сидела рядом с виолончелистом в такси, увозившим его домой, вместе с ним входила в дом, благосклонно взирала, как беснуется ошалевший от радости пес, а потом, словно ее пригласили погостить некоторое время, — устраивалась. Для того, кому нет нужды двигаться, это — легко: смерти все равно — присесть ли на пол или взобраться на шкаф. Репетиция затянулась, уже совсем скоро наступит вечер. Виолончелист покормил пса, потом приготовил ужин себе, опорожнив две жестяные банки и разогрев

¹ От *um. tutti* (все) — исполнение музыки всем составом оркестра.

то, что подлежало разогреву, потом расстелил полотенце на кухонном столе, поставил тарелки, положил салфетку, налил вина в стакан и неторопливо, будто думая о чем-то другом, поднес вилку ко рту. Пес сидел у стола, зная, что хозяин, может статься, угостит чем-нибудь со своей тарелки — будет вроде десерта. Смерть смотрит на виолончелиста. В сущности она не отличает красоты от уродства, и потому, быть может, что вместо лица у нее — череп, безглазый и безносый, испытывает неодолимое желание выявить нашу сущность, вытащив ее из-за витрины наружности. На деле, на деле, на самом-то деле — эту истину нельзя утаить — в глазах смерти все мы одинаково безобразны, причем даже в ту пору, когда были королевами красоты или носили мужской эквивалент этого титула. Она может оценить, какие сильные у виолончелиста пальцы, а кончики их на левой руке — наверно, загрубелые, а может быть, даже и мозолистые: жизнь вообще устроена несправедливо — на долю левой руки выпадает более тяжкий труд, а все рукоплескания публики достаются той, что водит смычком. Завершив ужин, виолончелист вымыл посуду, аккуратно, по сгибам, сложил полотенце и салфетку, спрятал их в ящик буфета и, прежде чем выйти из кухни, обвел ее взглядом — все ли на своем месте. Пес последовал за ним в музыкальный салон, где их ожидала смерть. Вопреки давешним нашим предположениям, виолончелист не стал играть сюиту баха. Однажды, когда зашел полусутоливый разговор с другими оркестрантами о возможности создать свой музыкальный портрет — настоящий портрет, а не придуманные, например, мусоргским типы вроде самуэля гольденберга и шму-

ли¹, — он сказал, что его портрет, если таковой и вправду существует в музыке, искать следует не в сочинениях для виолончели, ибо его там нет, а в коротеньком этюде шопена², опус двадцать пятый, номер девять, соль-бемоль мажор. Его спросили, почему, и он ответил, что не мог увидеть себя нигде, кроме как на линейках нотной бумаги, и это кажется ему убедительнейшей из причин. И еще добавил, что за пятьдесят восемь секунд шопен сообщил все, что только можно сообщить о человеке, которого ты знать не мог. И еще несколько дней шутники обращались к нему не иначе как «пятьдесят восемь секунд», но прозвище не привилось, потому что было слишком длинным, а равно и потому что невозможно вести диалог с тем, кто собирается в течение пятидесяти восьми секунд отвечать на то, о чем его спрашивают. И сейчас виолончелист, словно ощущая присутствие в доме кого-то третьего, с которым по неизвестной причине он должен говорить про себя, и, не желая пускаться в разглагольствования, необходимые для более-менее внятного рассказа даже о самой примитивной жизни, сел за рояль и, выждав немного, чтобы публика освоилась, атаковал этюд. Пес, в полудреме разлегшийся рядом с пюпитром, не обратил особого внимания на обрушившуюся ему на голову бурю звуков — то ли потому, что слышал эту композицию прежде, то ли потому, что ничего нового к его знаниям о хозяине она не добавляла. Смерть, однако же, по долгу службы слы-

¹ Имеется в виду пьеса «Самуэль Гольденберг и Шмуля» из цикла М.П. Мусоргского (1839–1881) «Картинки с выставки» (1874).

² Фридерик Шопен (1810–1849) — польский композитор и пианист.

шавшая множество всякой прочей музыки, где на почетном месте стояли похоронный марш того же шопена или *адажио ассай*¹ из третьей симфонии бетховена, впервые за свою бесконечно-долгую жизнь осознала, что может возникнуть идеальное сосуществование того, о чем говорится, с тем, как это говорится. Нужды нет, что это — музыкальный портрет виолончелиста, тем паче что свое отдаленное сходство он, верней всего, сам измыслил и вообразил: смерть более всего потрясло, что она расслышала в этих пятидесяти восьми секундах звучания ритмическую и мелодическую транспонировку любой и каждой человеческой жизни, заурядной или необыкновенной — дело было в трагической краткости, в исполненной отчаянья насыщенности, и в том еще, что финальный аккорд, словно отмеченный знаком паузы, повисал в воздухе, в пустоте, незнамо где, как будто что-то еще оставалось невысказанным. Виолончелист впал в один из самых непростительных грехов человеческих, именуемый гордыней, — он вообразил свою собственную и исключительную фигуру в портрете, запечатлевшем всех, и эта гордыня, если взглянемся в нее как следует и проникнем в суть, а не застрянем на поверхности, может быть истолкована и как проявление чувства, противоположного гордыне, то бишь смирения, ибо если на этом портрете изображены мы все, то и мне там должно найтись место. Смерть колеблется, ибо так и не решила еще, гордыня это или смирение, а потом, чтобы отделаться от сомнений, принимается разглядывать виолончелиста в надежде

¹ Музыкальный термин, служащий для обозначения темпа и выразительности, — «очень медленно»

определить, чего не хватает, взглядевшись в лицо или в руки, поскольку по руке можно читать как в открытой книге, и тут ни при чем истинная или мнимая мудрость хиромантии, исследующей линии любви, линии жизни, да-да, вы не ослышались, жизни, так вот, не в них дело: просто руки наделены даром речи, когда сжимаются или разжимаются, когда гладят или ударяют, когда смахивают слезу или прикрывают рот, скрывая улыбку, когда опускаются на плечо или машут на прощанье, когда работают или пребывают в покое, когда спят или пробуждаются, и на этом месте смерть, завершив свои наблюдения, приходит к выводу о том, что антоним гордыни — вовсе не смирение, даже если бы об этом твердили взахлеб, клялись и божились все словари, сколько ни есть их на свете, несчастные эти твари, которые должны руководствоваться и нами руководить лишь словами существующими, хотя есть многие множества никуда не вписанных, взять хоть, к примеру, слово, которое призвано противостоять гордыне, но не имеет ни малейшего отношения к склоненной главе смирения и, хоть весьма отчетливо написано на лице, на руках виолончелиста, не способно назвать нам свое имя.

Следующий день пришелся на воскресенье. Когда погода благоприятствует — вот как сегодня, — виолончелист имеет обыкновение проводить утренние часы в одном из городских парков, прихватив с собою пса и одну-две книги. Пес никогда не убегает далеко, даже если инстинкт заставляет его носиться от дерева к дереву, проверяя метки, оставленные сородичами. Время от времени он задирает ногу, но в части удовлетворения естественных надобностей тем и ограничи-

вается. Иные, более основательные, нужды дисциплинированно справляет он в садике возле дома, где живет, избавляя тем самым своего хозяина от необходимости идти за ним с пластиковым мешочком и лопаткой, специально предназначенной для сбора собачьих какашек. Можно было бы восхититься столь отрадными результатами воспитания, если бы не одно необыкновенное обстоятельство, заключающееся в том, что это — добрая воля самого пса, придерживающегося того мнения, что музыкант, артист, виолончелист, бьющийся над достойным исполнением баховой сюиты опус тысяча двенадцать ре-мажор, да, так вот, мнения, что не за тем пришел в этот мир музыкант, артист, виолончелист, чтобы подбирать с земли еще дымящиеся фекалии своего или любого другого пса. Не пристало, сказал он однажды в беседе с хозяином, вот бах, к примеру, никогда такого не делал. Музыкант ответил на это, что с тех пор времена сильно изменились, но вынужден был признать, что вот бах, к примеру, и правда никогда такого не делал. Хотя он любит всякую литературу — достаточно окинуть взглядом его полки, — но особое предпочтение отдает книгам по астрономии и прочим наукам, естественным не менее, чем надобности его пса, а вот сегодня прихватил с собой учебник энтомологии. Поскольку виолончелисту не достает предварительной подготовки, он на многое и не рассчитывает, но развлекается сведениями о том, что на земле существует почти миллион разновидностей насекомых, каковые подразделяются на отряды крылатых и первичнобескрылых, а те, в свою очередь, — на таракановых, прямокрылых, сетчатокрылых, перепончатокрылых, двукрылых, гру-

дохоботных, сеноедообразных. Вот на картинке изображена представительница подотряда лепидоптеров или чешуекрылых, известная под названием «мертвая голова», и если верить картинке, то это — бабочка, по-латыни звучно именуемая ахеронита атропос. Семейство ночных, на спинной части туловища имеется белое пятно, напоминающее человеческий череп, в длину достигает двенадцати сантиметров, окрас — темный, задняя пара крыльев — черно-желтого цвета. И зовут ее — атропос, что значит — смерть. Виолончелист не знает и никогда бы даже не смог вообразить себе, что смерть из-за его плеча с интересом глядит на цветную фотографию бабочки. С интересом, но в замешательстве. Вспомним, что за переход насекомых из бытия в небытие, отвечает, то есть убивает их, не она, а другая парка, и, хотя *modus operandi* у обеих одинаков, но и исключения довольно многочисленны: достаточно сказать, что насекомые не умирают по столь распространенным среди людей причинам, как, например, воспаление легких, туберкулез, рак, синдром приобретенного иммунодефицита, в просторечии — вич-инфекция, авиакатастрофа или сердечно-сосудистая недостаточность. Это-то всякому понятно. Гораздо труднее уразуметь то, что и привело в замешательство нашу смерть, из-за музыкантова плеча продолжающую смотреть на необыкновенно точное изображение человеческого черепа, невесть на каком этапе мироздания украсившее мохнатую спинку бражника. Ну да, у человека на теле тоже порою можно встретить изображения бабочек, но ведь человек с ними не рождается — это всего лишь обыкновенные татуировки. Быть может, размышляет

смерть, были времена, когда все живые существа представляли собой нечто единое, а уж потом постепенно разделились на пять царств, а именно — монеров или одноклеточных, простейших, грибов, растений и животных, внутри которых — мы имеем в виду, разумеется, царства — началась и продолжилась на протяжении бесчисленных эпох бесконечная череда макро- и микроспециализаций, так что нечего удивляться, если в этой биологической сутолоке и сумятице кое-какие особенности одних видов проявились в других. Быть может, это и объясняет не только тревожащее присутствие белого черепа на спинке бабочки ахеронита атропос, в имени которой название реки в загробном царстве предваряет слово «смерть», но и не менее беспокоящее сходство корня мандрагоры с человеческим телом. Прямо не знаешь, что и думать, столкнувшись с таким чудом природы, со столь удивительным явлением. Впрочем, мысли смерти, по-прежнему взирающей из-за плеча виолончелиста, уже приняли другое направление — она грустит, оттого что не додумалась использовать бабочек, отмеченных знаком черепа, вместо этих глупых лиловых писем, которые поначалу казались ей такой удачной идеей. Бабочке никогда бы и в голову не пришло вернуться ни с чем, свое предназначение она тащит на спине и для него рождена. Да и воздействие, надо сказать, было бы не в пример мощнее, когда бы вместо обычного почтальона, вручающего нам письмо, запорхали над нашей головой двенадцать сантиметров бабочки, ангел тьмы распростер бы свои черно-желтые крыла и, на бреющем полете очертив круг, за пределы которого нам уж не выйти, взмыл вертикально прямо перед

нами, поместив свой череп как раз перед нашим. Более чем очевидно, что мы не поскупились бы на аплодисменты при виде такой акробатической ловкости. Из всего вышесказанного следует, что смерти, по печению которой вверен род людской, нужно еще многому учиться. Ибо, как все мы знаем, бабочки — не в ее юрисдикции. Ни бабочки, ни какие иные представители животного царства, количество же их неисчислимо. Нашей смерти пришлось бы заключить договор с коллегой из зоологического департамента, ссудить у нее сколько-то бабочек ахеронита атропос, причем можно наперед сказать, не боясь ошибиться и приняв в расчет то, как соотносятся ареалы обитания и численность популяций, что ответит коллега надменным, неучтывым и недвусмысленным отказом, доказующим, что товарищеское поведение редко встретишь даже в ведомстве смерти. Вы вдумайтесь в почерпнутое из начального курса энтомологии сведение о том, что существует более миллиона видов насекомых, вы только попытайтесь себе представить количество особей в каждом из этих видов и скажите, не больше ли этих тварей на земле, чем звезд на небе, если заменить этим поэтическим понятием содрогающуюся в конвульсиях реальность вселенной, где мы — всего лишь ничтожное волоконец, бесконечно малая величина, стремящаяся к нулю. Смерть, ведающая человеками, которых к настоящему моменту насчитывается всего-навсего жалких семь миллиардов, размазанных по пяти континентам, — это смерть третьестепенная, подчиненная, более того — превосходно сознающая, какое ничтожное место она занимает в иерархии тана-тоса, о чем сама нашла в себе мужество честно за-

явить в письме, посланном в редакцию газеты, напечатавшей ее имя с заглавной буквы. И все же, занеся ногу над порогом мечты, смерть, которая уже перестала заглядывать за плечо виолончелисту, предалась сладостным думам о том, как поступила бы, получи она в свое распоряжение эскадрилью бабочек — вот выстроились они перед нею на поверхности стола, а она выкликает их по одной и отдает приказы: лети туда-то, найди такого-то, покажи ему череп и возвращайся. И когда музыкант подумал бы, что ахеронита атропос, изображенная на картинке, ожила и вспорхнула со страницы, это были бы последняя его мысль и последний отпечаток на сетчатке глаза, и возвестить ему о смерти не пришла бы ни тучная женщина в черном, как случилось, говорят, с марселем прустом, ни окутанный саваном скелет, представший зорким глазам других умирающих. Бабочка, бабочка, и ничего, кроме нежного шелкового шелеста крылышек большой черной бабочки с белым пятном на спине, очертаниями напоминающим череп.

Виолончелист взглянул на часы — время обеда давно прошло. Пес, который уже минут десять размышлял на эту же тему, сидел рядом с хозяином, положив ему голову на колено и терпеливо дожидаясь, когда тот вернется в этот мир. Неподалеку имеется ресторанчик, где можно получить сэндвич и тому подобную немудрящую и непритязательную снедь. Приходя по утрам в этот парк, виолончелист становится клиентом этого заведения и заказывает всякий раз одно и то же. Два сэндвича с тунцом под майонезом и бокал вина для себя, сэндвич со недожаренным мясом — для пса. Если погода благоприятствует — вот как

сегодня — они садятся на землю, в тени дерева, заку-
сывают и ведут беседу. Пес, распотрошив сэндвич, са-
мое вкусное приберегает на потом, сначала проглотив
ломтики хлеба и лишь затем, вдумчиво и неторопливо
жуя, отдает должное сочному мясу. Виолончелист же
ест рассеянно, размышляя о сюите ре-мажор баха, о
прелюдии, где есть один окаянный пассаж, на котором
ему уже несколько раз случалось застревать в сомне-
ниях и колебаниях, а это — самое скверное, что мо-
жет случиться в жизни музыканта. Покончив с едой,
они растягиваются на траве: виолончелист ненадолго
задремывает, а пес уснул минутой раньше. Потом
проснулись, вернулись домой — и смерть с ними. По-
куда пес бегал во дворик по большим собачьим делам,
виолончелист поставил сюиту на пюпитр, открыл ее
на этом заколдованном месте — ну, просто дьяволь-
ское пианиссимо — и вновь впал в неумолимые со-
мнения. Смерти стало жалко его: Бедняга, все равно
не успеет добиться желаемого, впрочем, как и все
прочие люди: даже когда они подходят совсем близко,
все равно остаются вдали. И тут впервые она обрати-
ла внимание, что во всем доме нет ни единого изобра-
жения женщины, если не считать портрета пожилой
дамы, которая имела все основания приходиться вио-
лончелисту матерью и была сфотографирована об ру-
ку с господином, который наверняка был его отцом.

У МЕНЯ К ТЕБЕ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА, сказала смерть. Коса по своему обыкновению не ответила, а о том, что она слышала обращенные к ней слова, судить можно было лишь по чуть заметному подрагиванию, ставшему физическим выражением общего замешательства, ибо никогда еще уста ее владелицы не проранивали такие слова, как «просьба» да еще и большая. Неделю меня не будет, продолжала смерть, и мне нужно, чтобы ты отправляла мои письма, разумеется, я не прошу тебя их писать, нужно только отсылать, а для этого тебе придется отдать мысленный приказ, а потом какой-нибудь мыслью или чувством — все равно чем: лишь бы доказывало, что ты жива — заставить задрожать лезвие, и этого достаточно, чтобы письма отправились по назначению. Коса хранила молчание, носившее, впрочем, оттенок вопросительный. Я не могу ходить туда-сюда, занимаясь почтой, я должна полностью сосредоточиться на решении проблемы виолончелиста и найти способ все-таки вручить ему это проклятое письмо. Коса молчала — теперь уже выжидательно. Смерть продолжила свою мысль: Вот я и придумала — сяду да разом и сочиню все письма за неделю, что пробуду в отсутствии, и поз-

воляю себе это лишь в связи с чрезвычайными обстоятельствами, ну, а на твою долю придется, как я сказала, лишь отправить их, тебе даже и выходить-то никуда не надо, и обрати внимание — я тебя прошу о дружеском одолжении, а ведь могла бы — и очень даже просто — приказать безо всяких, ибо если в последнее время я не пользовалась твоими услугами, это еще не значит, что ты больше не состоишь у меня в услужении. Молчание косы — на этот раз покорное — подтвердило последний тезис. Стало быть, договорились, заключила смерть, сегодня целый день буду сочинять письма, по моим подсчетам, должно получиться тысячи две с половиной, можешь себе представить, к концу работы буду без задних ног, и письма эти сложу на столе в восемь стопочек по дням, слева направо смотри не перепутай рассортировать их будет та еще морока не приведи бог если адресат получит причитающееся ему слишком рано или слишком поздно. Принято считать, что молчание — знак согласия. Коса молчала и, стало быть, не возражала. Запахнув свою простынку, сдвинув на затылок капюшон, чтоб не мешал, смерть уселась за работу. Много часов подряд писала, писала, писала: письма писала, конверты надписывала, а потом складывала, и вкладывала, и заклеивала, и кто-нибудь, пожалуй, вправе спросить, как ей это удавалось, если языка нет и неоткуда идти слюне, но так поступали в блаженно-кустарные времена, когда мы обитали в пещерах, и модернизация еще только чуть брезжила, а ныне конверты снабжены такой хитрой бумажной полосочкой: отодрал ее — и готово дело, так что можно сказать, что одна из бесчисленных функций языка ушла в историю. К концу

этой изнурительной работы смерть не осталась без задних ног потому только, что их у нее и прежде не имелось. Впрочем, это ведь только так говорится, и даже после того, как подобные выражения давным-давно утратили свой первоначальный смысл, мы продолжаем употреблять их. А смерть прощальным жестом заставила исчезнуть двести восемьдесят с чем-то сегодняшних писем, ибо лишь с завтрашнего дня предстояло косе вступить в должность почтового экспедитора, о чьих обязанностях было ей не так давно рассказано. Не произнеся ни единого слова на прощанье, смерть поднялась со стула, направилась к единственной в этом помещении двери — той узкой дверке, о которой мы столько раз упоминали, не имея ни малейшего представления о ее возможном предназначении, — открыла ее и, перешагнув порог, закрыла за собой. Столь сильно было испытанное косой чувство, что трепет прошел по всему ее лезвию до самого кончика, до острия. Никогда еще, сколько помнила себя коса, этой дверью не пользовались.

А время шло, и прошло его достаточно для того, чтобы родилось солнце — где-то там снаружи, за стенами этой белой холодной комнаты, где никогда не гаснут тусклые лампы, предназначенные вроде бы для того, чтобы отгонять тени от покойника, которому страшно было бы лежать в темноте. Однако время исполнить приказ смерти и выпустить на волю сегодняшнюю стопку писем еще не настало — можно еще немного поспать. Эти слова произносят обычно страдающие бессонницей, ночь напролет не смыкавшие глаз, но, бедолаги, считают они, будто смогут обмануть сон тем лишь, что попросят его прийти еще сов-

сем на немножко, на чуть-чуть — его, и минутки покоя не даровавшего им. И коса, в полном одиночестве коротавшая все эти часы, искала объяснение тому беспримерному факту, что смерть воспользовалась дверью, которой с того мига, как прорубили ее, суждено было, казалось, оставаться до скончания века лишь декорацией. И в конце концов перестала ломать себе голову, рассудив, что рано или поздно выяснится все же, что за дверью этой происходит, ибо практически невозможны тайны между смертью и косой, точно так же, как — между серпом и рукой, его сжимающей. И долго ждать не пришлось. Половину круга obeжала минутная стрелка, и вот дверь отворилась, и в дверном проеме возникла женщина. Коса слыхала, что такое бывает, что смерть иногда принимает облик человека, обычно — женщины, исходя, должно быть, из грамматической однородности рода, но всегда считала это всего лишь выдумками, легендами, так сказать, и мифами, вроде того феникса, который возрождается из собственного пепла, или барона мюнхгаузена, который самого себя с конем в придачу вытянул за волосы из болота, или дракулы трансильванского, которого, сколько ни убивай, не убьешь, пока не вонзишь ему в сердце осиновый кол, да и то, говорят, не всегда помогает, или знаменитого камня из ирландского поверья, который кричал, когда дотрагивался до него истинный, а не мнимый король, или того эфирского источника, который гасил горящие факелы и воспламенял незажженные¹, или тех женщин, которые менструаль-

¹ По словам римского писателя Плиния Старшего (23/24–79), вода эфирского источника имела чудесное свойство зажигать погруженные в нее погасшие факелы, хотя горящие факелы при по-

ной кровью кропили возделанные поля в рассуждении повысить урожайность, или муравьев размером с собак и собак размерами с муравьев, или воскресение на третий день, ибо на второй его случиться не могло. Ты очень красива, заметила коса, и замечание это было более чем справедливо: смерть и в самом деле была очень красива и никак не старше тридцати шестисеми лет, как верно подсчитали антропологи. А-а, разверзла наконец уста, воскликнула смерть. Повод появился: не каждый день увидишь, как смерть превращается в существо враждебной ему породы. Иными словами — не потому, что ты пленилась моей красотой. Отчасти и потому, но я заговорила бы даже в том случае, если бы мне, как и мосье марселью прусту, ты явилась в образе толстухи в черном. Я — не толстуха и не хожу в черном, а ты не имеешь ни малейшего понятия о том, кто такой марсель пруст. По совершенно очевидным причинам косы — и те, что предназначены косить людей, и те, что для травы, — не могут научиться читать, зато все мы — одни от травяного сока, а я вот от крови — одарены прекрасной памятью, и мне много раз приходилось слышать это имя, так что нетрудно было связать факты и уяснить себе, что это — великий писатель, возможно, даже один из самых великих, какие когда-либо жили на свете, и формуляр его должен быть где-нибудь в архивах. Только не в моих, не я его убивала. Так он что же — не местный, этот мосье марсель пруст, удивилась коса. Нет, он из страны под названием франция, ответила смерть, и в голосе ее явственно слышалась печаль.

гружении в нее гасли, как в обыкновенной воде («Естественная история», II, 228).

Ну, и что с того, что не ты его убила, пришла ей на помощь коса, не огорчайся, зато ты вон какая красивая. Я всегда знала, что ты — настоящий друг, но огорчаюсь я не из-за этого. А из-за чего. Не могу объяснить. Коса поглядела на нее несколько удивленно и сочла за лучшее заговорить о другом. А где же ты нашла все то, что на тебе надето. За этой дверью есть из чего выбрать: там нечто вроде магазина или огромной костюмерной, там сотни шкафов, сотни манекенов, тысячи вешалок. Своди меня как-нибудь, попросила коса. Что толку — ты ничего не понимаешь в стилях и модах. Да и ты, честно говоря, не сильно в этом разбираешься, сто́ит лишь взглянуть, как безвкусно подобраны разные части твоего наряда. Ты не выходишь из этой комнаты и потому не можешь знать, что сейчас носят. Тем не менее я вижу, что эта блуза очень похожа на те, какие носили в мое время. Мода — штука текучая, ходит по кругу, уйдет и вернется, а уж что я вижу на улицах, рассказать — не поверишь. Поверю даже без рассказа. И что же, по-твоему, блуза не подходит к этим брюкам и туфлям. Подходит, вынуждена была признать коса. А к этому берету, что у меня на голове. Тоже. А к этому кожаному жакету. Тоже. А к сумке на плече. Да я разве что говорю. А к серьгам, что у меня в ушах. Ладно, сдаюсь. Ну, признайся — я неотразима. Это зависит от типа мужчины, которого ты намерена обольстить. Во всяком случае, тебе кажется, что я — хороша. Я ведь с этого начала. Ну, если так — прощай, вернусь в воскресенье, самое позднее — в понедельник, не забывай ежедневно отсылать письма, не думаю, что это — такой уж тяжкий труд для той, кто круглые сутки стоит, приткнувшись к стене. Пись-

мо-то не забыла, спросила коса, сделав вид, что не заметила насмешки. Здесь оно, ответила смерть, прикоснувшись к сумке кончиками тонких выхоленных пальцев, которые всякому бы захотелось поднести к губам.

И при свете дня смерть возникла на узкой, стиснутой слева и справа стенами улице на самой городской окраине. Не видно ни двери, ни ворот, через которые она могла бы выйти, нет никаких примет или знаков, по которым удалось бы восстановить дорогу, приведшую ее сюда из холодного подземелья. Солнце не спит пустые глазницы, и по этой причине откопанным археологами черепам нет нужды щуриться в тот миг, когда внезапный свет бьет им в лицо, а счастливый ученый восклицает, что, по всем признакам, нашел неандертальца, хотя последующий осмотр непреложно докажет, что костные эти фрагменты складывались некогда в череп обыкновенного хомо сапиенса. Но смерть, сделавшаяся женщиной, достает из сумки темные очки и защищает ими свои человеческие глаза от офтальмии, более чем возможной у того, кто еще не привык к ослепительному сиянию летнего утра. Смерть поднимается по улице до того места, где кончаются стены и высятся первые дома. Здесь ей все знакомо: нет ни одного дома — сколько бы ни громоздилось их у нее перед глазами, сколько бы ни тянулось их до городской черты и до государственной границы — где бы ни побывала она хоть раз, и даже вон на ту стройку придется ей прийти через две недели, чтобы столкнуть с лесов беспечного каменщика, который не смотрел, куда ставит ногу. В подобных случаях принято говорить: Такова жизнь, — хотя выразились бы

мы не в пример точнее и определеннее, сказавши: Такова смерть. Но эту сядящуюся в такси барышню в темных очках мы не окрестим этим именем, скорее решим, что это сама жизнь и, задыхаясь, пустимся за ней вдогонку и, если посчастливится схватить другое такси, скажем водителю: Вон за той машиной, — но это ничего не даст, потому что увозящее ее такси уже свернуло за угол, и нет поблизости другого, к водителю которого смогли бы мы воззвать: Вон за той машиной. Так что теперь можно с полным правом и основанием сказать: Такова жизнь, — и, покорствуя судьбе, пожать плечами. Впрочем, пусть послужит нам утешением хотя бы то обстоятельство, что на письме, лежащем у нее в сумочке, выведено не наше имя, указан не наш адрес, и, стало быть, еще не пришел нам черед падать с лесов. Смерть меж тем и вопреки тому, что можно было бы предположить, велела таксисту ехать отнюдь не к дому виолончелиста, а к театру, где он служит. Не вызывает сомнений, что после цепи испытанных ею неудач намерена она действовать наверняка, но не считайте чистым и случайным совпадением, что начать она решила с превращения в женщину или, рассуждая в духе грамматическом, в тот род, который мы еще прежде сочли присущим в равной степени и женщине, и смерти, то есть женским. И, несмотря на полнейшую свою неискушенность во внешней стороне бытия, и особенно — в тех его разделах, где речь идет о чувствах, влечениях и искушениях, коса нашла — да нет же, не на камень — а уместным попасть в самое яблочко, спросив смерть, к какому типу относится тот мужчина, которого та намеревается прельстить. Вот оно, ключевое слово — прельстить. Да, смерть могла

бы напрямиком направиться к дому виолончелиста, позвонить и, когда он откроет дверь, послать ему, одновременно сняв темные очки, очаровательную улыбку, а потом сказать, что распространяет подписку на энциклопедию, ибо эта старая и вечно юная уловка действует почти всегда безотказно, а дальше — одно из двух: либо он пригласит ее зайти, чтобы обсудить условия за чашечкой чая, либо скажет что-нибудь в том смысле, что нет, мол, спасибо, не нужно, и сделает по ползновению закрыть дверь, смягчая отказ улыбкой деликатной и застенчивой: Вот если бы еще музыкальная — куда ни шло. В любом случае вручить письмо было бы легче легкого, но именно эта оскорбительная легкость не нравится смерти. Да, этот человек ее не знает, но ей-то он известен превосходно — она провела целую ночь в его жилище, она слышала его игру, а это, хочешь не хочешь, способствует установлению каких-то связей, кладет начало гармоничным отношениям, так что бухнуть с порога: Скоро умрешь, у тебя есть неделя на то, чтобы продать виолончель и отдать своего пса в хорошие руки, — было бы грубостью, неуместной в устах привлекательной женщины, в которую превратилась смерть. Нет, она замыслила другое.

Афиша, висящая у входа в театр, сообщает почтеннейшей публике, что на этой неделе состоятся два концерта национального симфонического оркестра: один — в четверг, то есть послезавтра, второй — в субботу. Будет совершенно естественно, если законное любопытство, неизбежно возникающее у того, кто с неослабевающим вниманием следит за нашим повествованием, не упуская самомалейших подробностей и ловя нас на противоречиях, упущениях, недого-

воренностях и прочих грехах, побудит его настоятельно осведомиться, на какие шиши намеревается смерть приобрести билет, если не прошло еще и двух часов, как покинула она свое подземелье, где чего-то не видать было ни банкоматов, ни отделений банков. И, раз уж выплыл любознательный читатель в открытое море вопросов, то непременно спросит он, с каких это пор таксисты не взимают плату с женщин в темных очках, с хорошей фигурой и приятной улыбкой. А мы, прежде чем злонамеренное предположение пустит корни, поспешим разъяснить, что смерть не только платила по счетчику, но не забывала и о чаевых. Если же вопрос происхождения денег продолжает будоражить воображение читателя, довольно будет сказать, что взялись они оттуда же, откуда и темные очки, то есть из сумки, ибо, насколько нам известно, нет такого закона, чтобы, раз уж одно взялось, другому и появиться нельзя. Зато очень даже может случиться так, что деньги, которыми смерть расплачивалась в такси и на которые собирается купить два билета на концерты, равно как и снять в ближайшие дни номер в гостинице, уже вышли из употребления. Не впервые случается нам ложиться в постель с одной монетой, а просыпаться — с другой. Будем все же надеяться, что деньги эти — настоящие и находятся под защитой действующего закона, а иначе, будучи хорошо осведомлены о том, сколь склонна смерть к талантливим мистификациям, можно было бы предположить, что таксист, не заметив обмана, получил бы от дамы в темных очках банкнот, не имеющий хождения в нашем мире или, по крайней мере, в наше время, — купюру с портретом, например, президента республики вмес-

то знакомого изображения его величества. Кассы театра только что открылись, смерть входит, здоровается и просит два билета — на четверг и на субботу — в ложу, в первый ряд. Смерть настаивает, чтобы места на оба концерта были одни и те же и — главное, неизменное условие — справа от сцены и как можно ближе к ней. Потом наудачу сунула руку в сумочку, вытащила бумажник, а из него — деньги и протянула их в окошечко, надеясь, что хватит. Кассирша отчитала сдачу: Вот ваши билеты, сказала она, надеюсь, вам понравятся наши концерты, вы ведь никогда прежде у нас не бывали, я, по крайней мере, не припомню, чтобы раньше вас тут видела, а у меня — редкостная память на лица, раз увижу — никогда не забуду, хотя, конечно, очки сильно меняют внешность, особенно если темные, вот как на вас. Смерть сняла очки: А теперь как. Нет, я уверена, что никогда вас не видела. Быть может, это оттого, что человек, который стоит перед вами, человек, которым я стала ныне, никогда не испытывал необходимости приобретать билеты на симфонические концерты, а несколько дней назад я имела удовольствие побывать на репетиции оркестра, и никто не заметил моего присутствия. Не понимаю. Напомните мне, и как-нибудь на днях я вам объясню. Когда. Когда-нибудь, когда ни будь этот день, но непременно он будет. Не пугайте меня. Смерть очаровательно улыбнулась и спросила: Скажите честно, вы считаете, что мой вид наводит страх. Да что вы такое говорите, я вовсе не это хотела сказать. Тогда следуйте моему примеру — улыбайтесь и думайте о приятном. Сезон продлится еще месяц. Какое отрадное известие, в таком случае мы наверняка

еще увидимся на будущей неделе. Меня всегда можно здесь застать, у нас в театре я — уже что-то вроде мебели. Не беспокойтесь, отыщу, даже если на месте вас не окажется. Буду ждать. Отыщу непременно, и, помолчав немного, смерть осведомилась: А кстати, вы сами или кто из домашних не получали лилового письма. Письма смерти. Да, от смерти. Мы-то, слава богу, нет, а вот соседу нашему завтра выходит срок, уж он так убивается, что смотреть жалко. Что ж поделаешь, такова жизнь. Ваша правда, вздохнула кассирша, такова жизнь. К счастью, возле окошечка появились люди, а иначе неизвестно, куда и как далеко бы завел собеседников этот разговор.

Ну-с, теперь надо найти такой отель, чтоб расположен был поблизости от музыкантова жилища. Смерть гуляючи добралась до самого центра, зашла в туристическое агентство, попросила план города, быстро отыскала на нем театр, а от него ее указательный палец пропутешествовал до того квадрата, где находится дом виолончелиста. Далековато, но в окрестностях имеются отели. Один из них — без роскошеств, но с удобствами — был ей предложен. Тот же клерк вызвался забронировать ей номер по телефону, а на вопрос смерти, сколько она ему должна, ответил с улыбкой: Сочтемся. Так уж водится — люди сбалтывают что в голову придет, бросают слова на ветер и не дают себе труда минуточку подождать и задуматься о последствиях. Сочтемся, сказал служащий турагентства, с неизбывным мужским самодовольством воображая себе приятную, по всей вероятности, встречу в ближайшем будущем. А ведь он рисковал тем, что смерть, окинув его холодным взглядом, могла бы от-

ветить: Берегитесь, вы не знаете, с кем разговариваете, — однако обошлось: она лишь рассеянно улыбнулась, поблагодарила и удалилась, не оставив визитки с номером телефона. В воздухе витал слабый аромат — смесь розы и хризантемы. В самом деле, кажется, поровну роз и хризантем, пробормотал служащий, медленно складывая план города. На улице смерть остановила такси и дала водителю адрес отеля. Она была недовольна собой. Напугала любезную и внимательную кассиршу, повеселившись за ее счет, а это уж просто переходит все границы. Люди и без того достаточно боятся смерти, чтобы она еще появлялась перед ними с улыбкой и возгласом: А вот и я, — служащим расхожим и, так сказать, домашним эквивалентом латинского: *Memento, homo, qui pulvis es et in pulverem revertis*¹, а потом, как будто мало этого, была готова бросить этой милой женщине, которая к тому же сделала ей одолжение, глупейший вопрос, который люди из так называемых верхов общества с наглейшим высокомерием адресуют тем, кого почитают нижестоящими: Да вы знаете, с кем разговариваете. Нет, смерть недовольна своим поведением. Она уверена, что, если бы осталась в облике скелета, никогда в жизни не поступила бы так. Все эти гадости прилипли ко мне не иначе как потому, что я вочеловечилась, думает она. Бросив взгляд в окно автомобиля, она узнала улицу, по которой они проезжают — здесь живет виолончелист, а вот и его окна в нижнем этаже. И внезапно ощутила в области грудобрюшной преграды или, как принято говорить — под ложечкой, холодок

¹ Ибо прах ты и в прах возвратишься (лат.). Бытие, 3:19.

и некое посасывание — может быть, это трепет охотника, поймавшего добычу в прорезь прицела, а может быть, и какое-то подобие необъяснимого смутного ужаса, когда начинаешь бояться себя самого. Такси останавливается и: Вот и ваш отель, сообщает водитель. Смерть протянула ему деньги, полученные от билетерши, и прибавила: Сдачи не надо, — не сообразив, что сдача превышает сумму, натикавшую на счетчике. Что ж, это простительно для существа, лишь начавшего знакомство с тем, как пользуются этим видом транспорта.

Подойдя к стойке портье, смерть спохватилась, что туроператор не спросил ее имя, ограничившись тем, что сказал в трубку: Посылаю вам клиентку, да-да, скоро подъедет, — ну, вот она и подъехала, эта клиентка, которая не может сказать, что ее зовут смерть, с маленькой буквы, пожалуйста, и не знает, как назваться, ах да, сумка, сумка через плечо, сумка, откуда уже были извлечены темные очки и деньги, сумка, из которой она извлечет и какой-нибудь документ. Добрый день, чем могу помочь, осведомился портье. Четверть часа назад вам звонили из бюро путешествий и просили забронировать номер. Да-да, это я с ними разговаривал. Ну, так вот, я и пришла. Заполните, пожалуйста, эту карточку. Смерть сейчас уже знает свое новое имя — его подсказало раскрытое на стойке удостоверение личности — и благодаря темным очкам может незаметно для портье скопировать фамилию, дату рождения, гражданство, семейное положение, профессию. Пожалуйста, сказала она. Как долго намерены пробыть в нашем отеле. Скорей всего, до понедельника. Позвольте, я сниму ксерокс с

вашей кредитки. Не захватила с собой, но я могу уплатить наличными вперед. Ах, нет-нет, в этом нет необходимости, воскликнул портье. Он взял удостоверение, чтобы сличить его с формуляром, и, явно удивившись, вскинул глаза. Дама, запечатленная на фотографии, была годами куда старше новой постоялицы отеля. Смерть сняла темные очки и улыбнулась. Совершенно сбитый с толку портье вновь воззрился на документ — теперь заснятая на нем дама и стоявшая перед стойкой клиентка были похожи как две капли воды. Где же ваш багаж, спросил он, проведя ладонью по влажному лбу. Я належке, отвечала смерть, приехала за покупками.

Она провела в номере целый день, обедала и ужинала в гостиничном ресторане. Смотрела телевизор. Потом легла в постель и потушила свет. Но не заснула. Смерть никогда не спит.

В НОВОМ ПЛАТЬЕ, ВЧЕРА КУПЛЕННОМ в одном из самых фешенебельных городских магазинов, смерть сидит на концерте. Сидит одна в первом ряду ложи и, как это было на репетиции оркестра, смотрит на виолончелиста. А тот, покуда в зале не притушили свет и не вышел маэстро, успел заметить эту женщину. И не только он. Во-первых, потому, что она одна занимает целую ложу, что, хоть, впрочем, и не такая уж редкость, но не часто случается. Во-вторых, потому, что красива: быть может, не самая красивая из всех женщин в публике, но в ее красоте есть что-то особенное, неопределимое, неподдающееся объяснению словами, словно стихотворение, чей сокровенный, подспудный смысл — если, конечно, может таковой содержаться в стихотворении — неизменно ускользает от переводчика. И, наконец, потому, что ее фигура, от всех и со всех сторон отделенная пустотой и обитающая как будто в нигде, кажется выражением самого полного одиночества. А смерть, которая так много и так опасно улыбалась с того мига, как покинула свое ледяное подземелье, сейчас не улыбается. Мужчины разглядывают ее с двусмысленным любопытством, женщины — с ревнивым беспокойством, а

она, как орлица, камнем падающая с неба на ягненка, видит только виолончелиста. Есть, впрочем, и разница. Если пернатые хищники обязаны убивать, ибо самой природой своей созданы для этого и предназначены, то взгляд этой орлицы, никогда не упускающей добычу, едва заметно туманится какой-то легкой тенью жалости, и кажется, что она, быть может, предпочла бы не вонзать когти в беззащитного агнца, а раскрыть мощные крылья и вновь взмыть в поднебесье — в разреженное пространство воздушной стихии, к вечно недосыгаемым облачным отарам. Оркестр смолк. Виолончелист исполняет свое соло, как будто для того лишь и на свет произведен. Он не знает, что одинокая дама в ложе держит в своей совсем недавно обновленной сумочке адресованное ему письмо в лиловом конверте, — не знает и знать не может, но играет так, будто прощается с этим миром и хочет наконец высказать все, о чем молчал так долго: излить и порушенные мечты, и несбывшиеся желания, короче говоря, всю жизнь свою. Оркестранты глядят на него с удивлением, дирижер — с почтительным недоумением, публика вздыхает и трепещет, а туманившее острый орлиный взор облачко жалости проливается слезой. Вот соло кончилось, и в громадное, медленно ворочающееся море вступившего оркестра мягко погружается песня виолончели, принятая им в себя, растворившаяся в нем и рассеявшаяся, унесенная им в те пределы, где музыка воспаряет на высоту безмолвия, делается тенью дуновения, пробегающего по коже от последнего и уже неслышного отзвука, подобно тому, который произвела бы присевшая на медную тарелку бабочка. В памяти мелькнуло шелковистое,

зловещее порхание ахерониты атропос, но смерть отогнала ее движением руки, столь же похожим на то, каким заставляла она исчезнуть лиловые письма со стола в подземелье, сколь и на знак благодарности, обращенной к виолончелисту, который, ища ее глазами в теплой тьме зрительного зала, повернул сейчас голову в сторону боковой ложи. Смерть повторила свое движение — и словно бы ее тонкие пальцы легли на руку со смычком. Виолончелист не сфальшивил, хотя сердце его сделало все, что могло, чтобы это случилось. И пальцы больше не прикасались к его руке — смерть поняла, что художнику, занятому своим делом, мешать нельзя. Когда окончился концерт и зал взорвался овацией, когда вспыхнул свет и дирижер поднял оркестр, а потом — отдельно — виолончелиста, чтобы тот принял причитающуюся ему долю аплодисментов, смерть, стоя в ложе и наконец-то улыбаясь, скрестила руки на груди и смотрела — просто смотрела — на тех, кто бил в ладоши, на тех, кто кричал «браво», на тех, кто десять раз кряду выкликал имя дирижера. Просто смотрела. Потом публика медленно и неохотно потянулась к выходу, оркестр же ушел за кулисы. Виолончелист повернулся к ложе, но там уже никого не было. Такова жизнь, пробормотал он.

Однако он ошибался — жизнь не всегда такова, и дама из ложи ждет его у служебного подъезда. Выходящие оркестранты посматривают на нее со значением, но сознают, неведомо почему, что эта женщина — под защитой невидимой ограды, высоковольтной цепи, прикоснувшись к которой, они сгорят, как мотыльки. Но вот появился виолончелист. Увидев ее, замер и даже словно бы собрался шагнуть назад, как будто эта

женщина вблизи окажется не женщиной, а чем-то иным, существом из иных сфер, не от мира сего, с темной стороны луны. Он опустил голову, попытался догнать выходящих коллег, скрыться, однако тяжелый футляр с виолончелью, висящий на ремне через плечо, затруднил маневр. А женщина уже стояла перед ним и говорила: Не бегите от меня, я хочу всего лишь сказать, что ваша игра доставила мне истинное наслаждение. Спасибо, конечно, но ведь я — обычный оркестрант, а не знаменитый исполнитель, которого поклонники ждут часами, чтобы получить автограф или просто прикоснуться. Ну, если дело в этом, я тоже могу попросить у вас автограф, распишитесь вот хоть на этом конверте — он случайно оказался у меня с собой. Нет-нет, вы неправильно меня поняли, я всего лишь хотел сказать, что, хотя мне это очень лестно, но я не достоин. А вот публика придерживается другого мнения. День на день не приходится. Совершенно верно, но сегодня — именно тот день, когда я пришла. Не хочется выглядеть в ваших глазах неблагодарным невежей, но, вероятней всего, вы уже завтра забудете чувство, испытанное сегодня, и исчезнете так же внезапно, как появились. Нет, вы меня не знаете, я тверда в своих намерениях. И каковы же они. Намерение у меня одно — познакомиться с вами. Ну, поскольку оно уже исполнено, мы можем попрощаться. Вы что — боитесь меня, спросила смерть. Да нет, это не страх, а так — легкая тревога, не более того. Полагаете, этого — мало: испытывать тревогу в моем присутствии. Тревога может быть сигналом, который подает нам благоразумие. Благоразумие способно только отсрочить неминуемое, но рано или поздно оно

сдастся. Надеюсь, это — не мой случай. А я так уверена в обратном. Виолончелист перевесил ремень на другое плечо. Устали, спросила смерть. Да нет, сам инструмент не тяжелый, футляр весит больше, особенно — этот, старинный. Мне нужно поговорить с вами. Как же это — уже почти полночь, все разошлись. Нет, вон там стоят еще несколько человек. Они ждут, когда выйдет дирижер. Давайте зайдем в какой-нибудь бар и поговорим. Хорош я буду с такой кладью за плечами в переполненном баре, улыбнулся музыкант, представьте, что будет, если все мои коллеги рассядутся там со своими инструментами. Мы могли бы дать концерт. Мы, переспросил виолончелист, удивленный множественным числом первого — и весьма привлекательного — лица. Ну да, я сама когда-то играла на скрипке, даже сохранились портреты, где я запечатлена с нею. Вы, наверно, задались целью каждым следующим словом удивлять меня все больше и больше. Вам решать, как далеко я смогу зайти в стремлении удивить вас. Вы не могли бы выражаться ясней. Вы ошибаетесь, я имела в виду не то, о чем вы подумали. А о чем же я подумал, позвольте узнать. О постели и обо мне в постели. Виноват. Вина — целиком на мне: будь я мужчиной и услышь я все, что здесь прозвучало из моих уст, подумала бы, без сомнения, о том же, о чем и вы, так что расплачиваюсь за двусмысленность. А я благодарю за откровенность. Сделав несколько шагов, женщина сказала: Ну, пойдете же. Куда, спросил виолончелист. Я — в гостиницу, где остановилась, а вы, вероятно, — к себе домой. И я вас больше не увижу. Ваша тревога уже унялась. А я и не тревожился. Неправда. Согласен,

но — было да прошло. На лице смерти обозначилось подобие улыбки, в которой, впрочем, не было и тени веселости. И прошло как раз тогда, когда появились основания для тревоги. Иду на риск и потому повторяю вопрос. Какой. Мы больше не увидимся. В субботу я приду на концерт и сидеть буду в той же самой ложе. В той программе у меня не будет соло. Я знаю. Кажется, вы все предусмотрели. Все. И с какой же целью. Цель — в конце, а мы с вами пока — в самом начале. Показалось свободное такси. Смерть остановила его и повернулась к виолончелисту: Подвезти вас до дому. Нет, я отвезу вас в отель и поеду домой. Не нет, а да, а иначе вам придется взять другое такси. Я вижу, вы привыкли добиваться своего. Всегда. Когда-нибудь сорвется, бог есть бог и почти ничем иным не занимается. Я готова прямо сейчас показать вам, что не сорвется. А я готов к показу. Не валяйте дурака, не в такт ответила смерть, и в голосе ее вдруг прозвучала угроза — подспудная, смутная, но от того не менее ужасная. Виолончель уместилась в багажник. За все время пути пассажиры не обменялись ни единым словом. Когда добрались до первого пункта назначения, музыкант, прежде чем выйти, сказал: Не понимаю, что между нами происходит, наверное, нам и вправду лучше не видеться больше. Никто вам этого не запрещает. Даже вы, всегда добивающаяся своего, спросил музыкант, стараясь, чтобы это прозвучало насмешливо. Даже я, ответила женщина. Но это значит, что — сорвется. Это значит, что не сорвется. Водитель вылез открыть багажник и ждал, когда оттуда извлекут футляр с инструментом. Мужчина и женщина не попрощались, не сказали: До субботы, — не прикоснулись

друг к другу, и все это напоминало любовный разрыв из разряда бурных, из категории драматических: казалось, они поклялись на крови и на воде никогда больше не встречаться. Закинув на плечо ремень, виолончелист двинулся прочь, вошел в дом. И вдруг замешкался в дверях, но так и не обернулся. Вцепясь пальцами в свою сумочку, глядела ему вслед женщина. Такси тронулось.

Виолончелист вошел к себе, бурча раздраженно: Сумасшедшая, сумасшедшая, сумасшедшая, в кои-то веки раз меня ждали у служебного, чтобы сказать, как я хорошо играл, да и то — оказалась какая-то полумная, и я тоже хорош, кретин, спросил, мы с вами больше не увидимся, своими руками смастерил себе западню, есть пороки, которые вызывают уважение или, по крайней мере, заслуживают внимания, но самодовольство всегда смешно, а фатовство — еще смешней, а уж смешней всего выступил я сам. Он рассеянно погладил пса, ринувшегося к дверям встречать, и прошел в музыкальный салон. Открыл футляр, осторожно извлек виолончель, которую перед тем, как идти спать, еще придется настроить, потому что поездки на такси, пусть даже и непродолжительные, не идут инструменту на пользу. Прошагал на кухню, задал корму псу, а себе приготовил сэндвич и сопроводил его стаканом вина. Досада его уже прошла, но чувство, которое мало-помалу приходит ей на смену, не вносит умиротворения в душу. Вспоминая все, что было сказано этой женщиной, в том числе и фразочку о том, что за двусмысленность всегда приходится расплачиваться, он приходит к выводу, что каждое ее слово, независимо от контекста, несет в себе добавочный

смысл, не поддающийся уразумению и постижению, дразнящий и ускользающий, как вода, которую тщетно пытался зачерпнуть тантал, как ветвь, которая уворачивалась от его руки, тянушейся сорвать плод. Да нет, пожалуй, она не сумасшедшая, подумал он, но, без сомнения, — с большими странностями. Поев, он возвращается в музыкальный салон или в гостиную, где стоит рояль — ведь до сих пор мы двояко обозначали это помещение, но, хотя не в пример логичней было бы назвать его виолончельной комнатой, ибо именно виолончелью снискивает себе наш музыкант хлеб насущный, придется признать, что звучит это скверно, и сама комната будто утрачивает толику своего достоинства, поскольку достаточно мысленно продолжить эту цепочку, чтобы признать правоту нашего умозаключения: музыкальный салон, рояльная гостиная, виолончельная комната, и это еще куда ни шло, более или менее приемлемо, но куда же мы скатимся, если продолжим, и появятся у нас кларнетная каморка, флейтный флигелек, турецко-барабанная светелка, а то и вовсе ни с чем несообразный треугольниковский уголок. Ведь и у слов имеется своя иерархия, свой этикет и протокол, свои дворянские титулы и плебейские стигмы. Пес пришел следом за хозяином и улегся на полу, трижды прокрутившись вокруг своей оси — только это обыкновение и осталось ему в наследство от тех времен, когда он был волком. Музыкант камертоновым «ля» настроил виолончель, любовно вернув гармонию инструменту, то есть устранив ущерб, причиненный варварской тряской по камням мостовой. На какие-то мгновения ему удавалось позабыть женщину из ложи, и даже не ее саму, а этот бес-

покоящий разговор, который вели они у артистического подъезда, хотя искрометный диалог в такси продолжал звучать у него в ушах приглушенным рокотом барабанов. Женщину из ложи он не забыл, женщину из ложи он не хочет забывать. Он видит, как она стоит в ложе, скрестив руки на груди, он продолжает ощущать на себе ее пристальный, алмазной твердости взгляд, вспыхивающий, когда она улыбается. Он думает, что в субботу снова увидит ее, увидеть-то увидит, но она уже не будет стоять в ложе, скрестив руки на груди, и не будет смотреть на него издали, ибо это волшебное мгновение поглощено следующим, в которое он повернулся, чтобы увидеть ее в последний раз — так ему кажется — а ее уже не было.

Давно уже безмолвствовал камертон, и виолончель обрела прежнее и нужное звучание, когда раздался резкий звонок телефона. Музыкант вздрогнул от неожиданности, взглянул на часы — почти половина второго. Что за черт, подумал он, кто бы это мог быть так поздно. Он снял трубку и выждал несколько секунд, что было, разумеется, нелепо: он должен был ответить, назваться или назвать свой номер, и тогда на том конце сказали бы: Простите, не туда попала, — но вместо этого там осведомились: Если это пес подошел к телефону, то пусть соблаговолит хотя бы гавкнуть. Да, это пес, ответил виолончелист, но он, видите ли, уже давно не лает, а также утратил обыкновение кусать кого бы то ни было, кроме себя самого, да и то лишь в том случае, если жизнь делается нестерпимо омерзительна. Не сердитесь, я звоню попросить у вас прощения, наш разговор сразу же пошел по опасной тропке, и кончился, как и следовало ожидать, плачев-

но. Не знаю, кто вас повел этой тропой, но только не я. Да нет, это я во всем виновата, хотя в сущности отличаюсь уравновешенностью и спокойствием. Не заметил за вами ни того, ни другого. А может, у меня раздвоение личности. В этом случае мы играем на равных: я ведь тоже — пес и человек в одном лице. Ирония в ваших устах звучит как-то неорганично, ваш музыкальный слух должен был уже подсказать вам это. Да будет вам известно, сударыня, что диссонанс — часть музыки. Не называйте меня сударыней. А как же мне к вам обращаться, я ведь не знаю, как вас зовут, кто вы такая и чем занимаетесь. В свое время все узнаете, спешка до добра не доводит, ведь мы с вами только что познакомились. Вы, однако, уже успели узнать номер моего телефона. Для этого существуют справочные службы, а портье взял на себя труд получить нужные сведения. Жаль, что у меня такой допотопный аппарат. Почему. Потому что был бы новейшей модели, давно бы уже высветился ваш номер. Это номер моего номера в отеле. Вот как. А что касается допотопности, то, должна вам сказать, меня это несколько не удивляет, я так и думала. Почему. Потому что соответствует вашему облику: кажется, будто вам не пятьдесят лет, а пятьсот. А как вы узнали, что мне пятьдесят. Я безошибочно определяю возраст. Мне кажется порой, что вы чересчур уверились в том, что не совершаете ошибок. А вот и нет: не далее как сегодня, например, я ошиблась дважды, и такого со мной еще никогда не бывало. Не понимаю. У меня для вас письмо, а я все никак не могу его вам передать, хотя могла бы дважды — при выходе из театра или потом, в такси. Что это за письмо. Будем считать, что я напи-

сала его, побывав на репетиции вашего оркестра. Вы были на репетиции. Была. Я вас не заметил. Вполне естественно — и не могли заметить. Ну, как бы то ни было, это был не мой концерт. Похвальная скромность. А «будем считать» — это ведь не то же, что «было так». Иногда это — одно и то же. В данном случае — нет. Поздравляю, вы не только скромны, но и проницательны. Так что же это все-таки за письмо. В свое время узнаете и это. Так отчего же вы мне его не вручили, раз была возможность. Не раз, а два. Тем более — так отчего же. Надеюсь сама это узнать и, может быть, в субботу после концерта вы его получите, ибо в понедельник меня уже в вашем городе быть не должно. Вы живете не здесь. Жить не живу. Ничего не понимаю, с вами разговаривать — что брести по лабиринту, лишенному выхода. Превосходное определение жизни. Вы — не жизнь. Я далеко не так сложна. Кто-то сказал, что каждый из нас на какой-то срок и есть сама жизнь. Вот именно — на какой-то срок, всего лишь на какой-то срок. Господи, как будет славно, если послезавтра все это разъяснится — и письмо, и то, почему вы мне его не отдали, словом, все, я устал от тайн. То, что вы называете тайной, часто служит нам защитой, одни облакаются в доспехи, другие — в тайну. Защита ли, не защита, но мне бы хотелось взглянуть на это письмо. Если не сорвется в третий раз, то — взглянете. А отчего же должно сорваться. От того же, от чего срывалось уже дважды. Кажется, мы с вами играем в «кошки-мышки». Эта игра неизменно кончается тем, что кошка ловит мышку. Если только мышка не сумеет привязать колокольчик на шею кошке. Ответ хорош, просто замечателен, да вот бе-

ЖОЗЕ САРАМАГО

да — это всего лишь несбыточная мечта, греза, так сказать, навеянная мультфильмами, ибо даже если кошка заснет, шум разбудит ее, и тогда — прощай, мышка. Похоже, что это я — мышка, которой вы говорите «прощай». Если мы взялись играть, одному из нас поневоле придется стать мышкой, а вы ни обликом, ни изворотливостью не тянете на кошку. И, стало быть, обречен влачить всю жизнь мышкину долю. Да, пока длится жизнь, будете мышкой-виолончелисткой. Опять что-то из мультфильма. А вы еще не заметили, что все люди — персонажи мультфильма. Стало быть, и вы — тоже. У вас, кажется, был случай заметить, на что я похожа. На красивую женщину. Спасибо. А наш телефонный разговор — на флирт, только вот не знаю, заметно ли это. Если гостиничная телефонистка развлекается тем, что подслушивает разговоры постояльцев, то наверняка пришла к такому же выводу. Если даже и так, то серьезных последствий не будет, ибо сидевшая в ложе дама, чье имя я так и не узнал, в понедельник уезжает. И не вернется никогда. Вы уверены. Едва ли еще раз возникнут обстоятельства, побудившие меня оказаться здесь. «Едва ли» — это все же не «никогда не». Я предприму все необходимые меры, чтобы не пришлось повторять это путешествие. Но, несмотря на все это, вы не жалуете. На что на «все». Простите мою неделикатность, я всего лишь хотел сказать, что. Не старайтесь быть со мной любезным, я к этому не привыкла, а кроме того, нетрудно догадаться, что вы имели в виду, но если все же находите нужным дать мне более пространное объяснение, то мы сможем продолжить наш разговор в субботу. А до тех пор я вас не увижу. Нет.

Связь прервалась. Виолончелист смотрел на трубку, все еще держа ее во влажной руке. Приснилось, наверное, пробормотал он, наяву такого со мной еще не бывало. Он не столько опустил, сколько бросил трубку на рычаг и теперь уже громко, обращаясь к виолончели, к роялю и к полкам, спросил: Чего от меня надо этой женщине, кто она такая, зачем появилась в моей жизни. Разбуженный пес вскинул голову. Ответ читался у него в глазах, но виолончелист, не обращая внимания, заметался по комнате из угла в угол — нервы, как видно, разгулялись еще пуще, — а ответ между тем был примерно таким: Сейчас, когда ты заговорил об этом, мне смутно припоминается, как я спал, положив голову на колени какой-то женщине, может быть, это она самая и есть. Какие колени, какой женщине, должен был бы спросить виолончелист. Да ты спал. Где. В кровати, где. А где была она. Вот здесь. Шутить изво-лите, господин пес, тысячу лет уж не было в этом доме, в этой комнате женщины, а ну-ка поподробней. Как ты, вероятно, знаешь, восприятие времени у представителей семейства псовых отличается от человеческого, но вроде бы и вправду много лет прошло с тех пор, как ты в последний раз делил свое ложе с женщиной, и сказано это было, само собой разумеется, без иронии. Стало быть, ты ее себе вымечтал. Вполне возможно, ибо псы — неисправимые мечтатели, мы грезим наяву — но лишь до тех пор, пока, увидев в полутьме нечто, позволяющее вообразить, что это — женщина, не вспрыгиваем на диван и не кладем ей на колени голову. Это — твое собачье дело, сказал бы виолончелист. И если даже все оказывается не так, мы не жалуемся, сказал бы пес. А в своем но-

мере в отеле раздетая смерть стоит перед зеркалом. И не знает, кто отражается в нем.

В продолжение всего следующего дня женщина не звонила. Виолончелист не выходил из дому, боясь пропустить звонок. Прошла ночь — и ничего. Виолончелист спал еще хуже, чем накануне. В субботу утром, перед репетицией, его вдруг осеняет странная мысль: можно ведь обойти окрестные отели и узнать, не останавливалась ли там женщина с такой вот фигурой, волосами такого-то цвета, такими-то глазами, ртом такой-то формы, такой-то улыбкой, такими-то движениями рук — но он отказывается от этого безумного начинания, ибо совершенно очевидно, что спрошенные ответят ему с нескрываемой подозрительностью сухим: Подобные сведения не предоставляем. Репетиции прошла ни шатко, ни валко: он старался всего лишь играть, что написано, а не мимо нот, а если уж фальшивить, то — не слишком часто. Отыграв, побежал домой. И думал, что вот, она звонила, но не нашлось даже самого убогого автоответчика, чтобы оставить сообщение после длинного гудка. Нет, я — просто какой-то троглодит из каменного века, бормотал он по дороге, у всех есть автоответчики, только у меня нет. Но если требовалось доказать, что женщина не звонила, то доказательства эти были ему предоставлены в течение следующих нескольких часов. Ибо тот, кто дозвониться не смог, обычно перезванивает, однако проклятый аппарат молчал, как проклятый, весь день, оставаясь безучастен к тем исполненным все большего и большего отчаянья взглядам, которые обращал к нему виолончелист. А отчаиваться не надо, вероятно, она и не позвонит, по тем

или иным причинам это оказалось невозможно, однако на концерт-то придет, а потом они, как в прошлый раз, вернуться в такси, а когда доедут до дому, он пригласит ее зайти, и тогда уж можно будет поговорить спокойно, и она вручит ему это пресловутое письмо, и оба они сочтут очень забавными те преувеличенные похвалы, которые она решила расточить и поверить бумаге после репетиции, на которой он ее не видел, а он скажет, что, мол, он все же не ростропович¹, а она — кто, мол, знает, что произойдет в будущем, а когда уж не о чем больше будет говорить или когда слова направятся в одну сторону, а мысли — в другую, вот тогда, быть может, и произойдет что-то такое, о чем можно будет вспомнить в старости. В таком вот состоянии духа вышел виолончелист из дому, в таком же — дошел до театра, в таком же — взошел на сцену и занял свое место. Ложа была пуста. Опаздывает, сказал он себе, сейчас появится, вон кто-то еще торопится в зал. И в самом деле — бормоча извинения за то, что приходится беспокоить тех, кто уже сидит на своих местах и теперь вынужден подниматься, между рядами еще пробираются замешкавшиеся слушатели, но женщины не было. В антракте придет. Не пришла и в антракте. Ложа оставалась пуста до конца концерта. И все же теплилась еще вполне основательная надежда на то, что, не имея возможности прийти на концерт по вышеуказанным причинам, она ждет его у служебного входа. Нет, не ждет. Но поскольку надеждам на роду написано если не сбываться, то сейчас же производить по-

¹ Мстислав Леопольдович Ростропович (р. 1927) — русский виолончелист, дирижер.

добных себе, отчего, должно быть, несмотря на бесчисленные разочарования, все никак и не переведутся они в мире, то она наверняка стоит у подъезда его дома, с улыбкой на устах, с письмом в руке. Ну конечно, она — там, обещанное — свято. Нет ее там. Виолончелист проходит к себе, как автомат — ну, тот, старинный, из первого поколения роботов, которые должны были просить разрешения у одной ноги, чтобы двинуть другой. Оттолкнул пса, вышедшего приветствовать, приткнул, как пришлось, виолончель и повалился на кровать. Это тебе наука, идиота кусок, ты вел себя как законченный придурок, безмозглый болван, ты поместил желанный тебе смысл в слова, означавшие нечто совершенно иное, а что именно — не знаешь и не узнаешь никогда, ты поверил улыбкам, которые, в конце концов и по сути дела, суть всего лишь произвольные сокращения лицевых мускулов, ты позабыл, хотя об этом тебе милосердно напомнили, что у тебя за плечами — пятьдесят лет, так что теперь валяйся здесь, на кровати, где мечтал принять ее, пока она смеется над тем, в какое дурацкое положение поставила тебя, благодаря твоей же неисцелимой глупости. Уже позабывший недавнюю обиду пес явился утешать. Поставил передние лапы на матрас, придвинулся так, что оказался вровень с левой рукой хозяина, откинутой в сторону, как нечто ничемное и ненужное, и мягко опустил на нее голову. Он мог бы, уподобясь своим заурядным собратьям, лизнуть ее, раз и другой, но природа, на сей раз проявившая благорасположенность, одарила его чуткостью, которая позволяла ему всякий раз изобретать новые движения для выражения одних и тех же, неизменных

чувств. Виолончелист перевернулся на другой бок, подвинулся и согнулся так, что расстояние от его головы до головы пса составило не больше пяди, и лежа вот так, глаза в глаза, они, не испытывая надобности в словах, говорили: Даже подумавши как следует, я совершенно не представляю себе, кто ты, но ведь это и не важно, а важно, что мы любим друг друга. Горечь постепенно высвобождала душу виолончелиста, и на самом деле наш мир редкостно богат подобными эпизодами: он ждал, а она не пришла, она надеялась, а он подвел, и, положив руку на сердце, мы, ни во что не верующие скептики, скажем дружно: Да лучше уж это, чем, например, ногу сломать. Высказать эту мысль легко, но во сто крат лучше будет не облекать ее в слова, ибо слова очень часто производят действие, обратное предполагаемому и тому, ради которого были произнесены, так что сплошь и рядом бывает, что эти мужчины и эти женщины говорят: Ненавижу тебя, Ненавижу тебя, — а потом заливаются горячими слезами. Виолончелист сел на кровати, обнял пса, который положил ему лапы на колени в последнем порыве участия, и произнес с упреком, обращенным к самому себе: Будьте добры сохранять достоинство, довольно хныкать. И добавил, уже адресуясь к своему неизменному компаньону: Есть, конечно, хочешь. Повилив хвостом, пес ответил в том смысле, что да, мол, еще бы не хотеть, уж сколько часов как не евши сижу, и они направились на кухню. Виолончелист есть не стал — не хотелось. Кроме того, комок в горле все равно бы не дал проглотить ни кусочка. Полчаса спустя он уже был в постели: принял облаточку, чтобы поскорее приманить к себе сон, но проку от нее оказа-

лось мало. Он засыпал и просыпался, задремывал и пробуждался, всякий раз одолеваемый мыслью о том, что надо догнать и ухватить сон, не позволить бессоннице разлечься рядом, на свободной половине кровати. Женщина из ложи не снилась ему, но была минута, когда, проснувшись, он увидел, как она стоит на самой середине музыкального салона, скрестив руки на груди.

Следующий день пришелся на воскресенье, а воскресенье — это день, когда полагается выгуливать пса. Любовью за любовь, мог бы сказать тот, держа в зубах ошейник с поводком. Уже в парке, направляясь к своей любимой скамейке, виолончелист еще издали заметил, что на ней сидит женщина. Скамейки в парке принадлежат всем и никому и, как правило, бесплатны, так что нельзя сказать тому, кто пришел первым: Эта скамейка — моя, пересядьте, пожалуйста. И никогда благовоспитанный человек, каков виолончелист, такого себе не позволит, тем более что ему чудится, будто он узнал в женщине на скамейке ту, что сидела на концерте в ложе, в первом ряду, ту, что не пришла, как обещала, ту, что вчера ночью стояла на самой середине музыкального салона, скрестив руки на груди. Как известно, после пятидесяти глаза уже не те, и мы начинаем помаргивать и щуриться, словно изображая из себя героев дикого запада или мореплавателей прошлых веков, словно сидим в седле или стоим на носу каравеллы, озираем из-под руки далекие горизонты. Женщина одета иначе, чем та, давешняя, она — в брюках и кожаном пиджачке, и, несомненно, это — другая, говорит виолончелист своему сердцу, но оно — зорче и потому отвечает: глаза про-

три, она самая и есть, и мы поглядим теперь, как ты будешь себя вести. Женщина вскинула голову, и последние сомнения виолончелиста исчезли — это была она. Здравствуйте, сказал он, остановившись у скамьи, сегодня я мог ожидать чего угодно, только не подобной встречи. Здравствуйте, я пришла проститься и попросить прощения за то, что вчера не была на концерте. Виолончелист, присев рядом и отстегнув поводок, сказал псу: Гуляй, — и, не глядя на женщину, ответил ей: Вам не за что просить прощения, такое бывает, люди купят билет, а потом из-за того или из-за этого прийти не могут, это в порядке вещей. С прощением разобрались, а как насчет моего прощания, спросила она. Ну, с вашей стороны это — уж такая утонченность: счесть себя обязанной попрощаться с незнакомым человеком, тем более что я решительно не понимаю, откуда вы знаете о моем обыкновении гулять по воскресеньям в этом парке. О вас мне известно едва ли не все. Умоляю вас, не станем заводить абсурдный разговор наподобие тех, что мы вели в четверг у театра, а потом по телефону: вы ничего не можете знать обо мне, потому что мы никогда раньше не встречались. Вспомните, что я была на репетиции. А я не понимаю, как вам удалось проникнуть в зал: наш дирижер никого посторонних не допускает, только не говорите, ради бога, что вы и его знаете. Не так хорошо, как вас, но вы — исключение. Не хотелось бы. Почему. Хотите знать, вы на самом деле хотите это знать, спросил виолончелист с яростью, близкой к отчаянью. Хочу. Потому что я влюбился в женщину, о которой ничего не знаю, которая развлекается за мой счет и морочит мне голову, а завтра уедет неизвестно

куда, и я никогда больше ее не увижу. Не завтра, а сегодня. Тем более. И то, что я морочу вам голову, — неправда. Впечатление создается именно такое. Что же до того, что вы влюбились, то ответа от меня не ждите, ибо есть слова, произносить которые мне запрещено. Опять тайна. И — далеко не последняя. Да нет, мы прощаемся, и конец всяким тайнам. Могут возникнуть другие. Пожалуйста, перестаньте меня мучить. Письмо. Я не желаю знать ни о каком письме. Если бы я даже хотела вручить вам его, с улыбкой произнесла женщина, то все равно бы не смогла — забыла в отеле. Ну, так порвите его. Я подумаю, что с ним сделать. Чего тут думать, разорвите — и все. Женщина поднялась. Уже уходите, спросил виолончелист. Он продолжал сидеть, не поднимая головы, и явно хотел сказать что-то еще. Я к вам даже не прикоснулся, пробормотал он. Это я не захотела, чтобы вы ко мне прикасались. Как же вам это удалось. Мне это нетрудно. Даже сейчас. Даже сейчас. Ну, дайте хоть руку. Руки у меня холодные. Виолончелист поднял голову. Женщины уже не было.

Мужчина и пес рано покинули парк, купленные сэндвичи предполагалось съесть дома, и послеполуденный отдых на травке был отменен. День тянулся томительно и печально: виолончелист взял книгу и, прочитав полстраницы, отбросил. Сел за рояль, но руки — холодные, одеревеневшие, словно мертвые — не слушались. И даже когда взялся за виолончель, любимый инструмент его отверг. Он дремал в кресле, и ему хотелось погрузиться в нескончаемый сон и не просыпаться никогда. Растянувшись на полу в ожидании зова, которого не последовало, глядел на него

пес. Должно быть, хозяин так огорчился из-за той женщины в парке, размышлял он, и, выходит, врет поговорка насчет того, что с глаз долой — из сердца вон. Поговорки вообще постоянно обманывают нас, вывел заключение пес. В одиннадцать брякнул звонок у двери. Соседу что-нибудь понадобилось, подумал виолончелист и пошел открывать. Добрый вечер, сказала женщина из ложи, переступая порог. Добрый вечер, ответил виолончелист, одолевая перехвативший горло спазм. Войти не предложите. Конечно-конечно, заходите, пожалуйста. Он посторонился, пропуская ее, закрыл дверь — и все это медленно, чтобы сердце не лопнуло. На дрожащих ногах провел ее в гостиную, дрожащей рукой указал на кресло. Я думал, вы уже уехали. Как видите, решила задержаться, ответила женщина. До завтра. Вероятней всего. Полагаю, вы принесли мне письмо, которое так и не порвали. Да, оно у меня в сумке. Ну, давайте сюда. Успеется, у нас еще есть время, помните, я говорила, что спешка до добра не доводит. Ну, как угодно, я в вашем распоряжении. Это вы серьезно. Есть у меня такой крупный недостаток: я всегда говорю серьезно, даже когда хочу рассмешить — особенно когда хочу рассмешить. В таком случае осмеливаюсь обратиться к вам с просьбой. Да. Возместите мне вчерашний концерт, на котором я не была. Это каким же образом. У вас же есть рояль. Да ну, что вы, я весьма посредственный пианист. Ну, тогда сыграйте на виолончели. Это — другое дело, я готов сыграть вам одну-две пьески, если вы настаиваете. По моему выбору, спросила женщина. Да, но в пределах моих возможностей. Женщина взяла тетрадь с нотами сюиты номер шесть баха и сказала:

Вот это. Она очень длинная, больше получаса, а уже поздно. Повторяю вам — у нас есть время. Там в начале есть один пассаж, он никогда мне не дается. Не страшно, ответила женщина, когда дойдете до него — перескочите, а может быть, и не надо будет, выйдет лучше, чем у ростроповича. Виолончелист улыбнулся: Можете не сомневаться. Он поставил ноты на пюпитр, глубоко вздохнул, левой рукой взялся за гриф, правую со смычком поднес к самым струнам, почти касаясь их, и — начал. Ему ли было не знать, что он — не ростропович, а всего лишь оркестрант, играющий соло в тех случаях, когда этого требует программа, но здесь, перед этой женщиной, перед своим разлегшимся на полу псом, в этот ночной час, в окружении своих книг, своих партитур, своих нот, он сам сделался иоганном себастьяном бахом, сочиняющим в кётене то, что позднее будет названо опусом тысяча двенадцатым, и создавшим своих работ почти столько же, сколько творец вселенной — своих. Трудный пассаж был преодолен играючи, так что исполнитель и сам не заметил свершенного им подвига, блаженные руки заставляли виолончель петь, говорить, лепетать, рычать, и, вероятно, ростроповичу не хватало именно этой комнаты, этого часа, этой женщины. Когда завершил, ее руки уже не были холодны, а его — горели, и потому, наверно, руки потянулись к рукам, соединились и не размыкались. Было уже далеко и очень далеко за полночь, когда виолончелист спросил: Вызвать такси, — а женщина ответила: Нет, останусь с тобой, — и подставила ему губы для поцелуя. Вошли в спальню, разделись, и то, чему предписано было совершиться, наконец совершилось, раз, и другой, и

третий. Он заснул, а она — нет. И она, смерть, поднялась, открыла сумку, оставленную в гостиной, вытащила письмо в лиловом конверте. Оглянулась по сторонам, будто прикидывая, куда бы его положить — на рояль, между струнами виолончели или же вернуться в спальню и сунуть под подушку, на которой покоилась голова мужчины. Не положила никуда. Вышла на кухню, чиркнула спичкой — это она-то, способная одним взглядом испепелить эту бумажку, обратить ее в неосвязаемый прах, воспламенить одним прикосновением пальцев — и вот обыкновенная спичка, заурядная, жалкая, повседневная спичка подожгла письмо смерти, которое лишь сама смерть и могла уничтожить. И пепла не осталось. Смерть вернулась в постель, обняла спящего и, не понимая, что происходит, ибо смерть не спит никогда — почувствовала вдруг, как сон мягко смыкает ей веки. На следующий день никто не умер.

ЖОЗЕ САРАМАГО
ПЕРЕБОИ В СМЕРТИ

Редактор М.Немцов

Корректор Е.Варфоломеева

Компьютерная верстка К.Москалев

В оформлении использована работа Robert Dighton
«An Essay on Woman: Life and Death Contrasted», 1796 г

ООО «Издательство «Эксмо»,
125299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/ 5
Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта — info@eksmo.ru

Подписано в печать 20.07.2006. Формат 84×108 ¹/₃₂.

Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 13,44.

Тираж 5000 экз. Заказ № 3654.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Ф11.95



В стране, оставшейся неназванной, происходит нечто невиданное с начала времен. Смерть решает прервать свои неустанные труды — и люди просто перестают умирать. Отныне их судьба — жить вечно. Эйфория населения сменяется отчаянием, все принимаются изыскивать способы покончить с таким невыносимым положением. И вот, когда страна оказывается на пороге войны и хаоса, в игру вступает сама Смерть — и меняет правила. Но есть один человек, который отказывается им подчиниться...

Последний роман португальского классика мировой литературы, лауреата Нобелевской премии Жозе Сарамаго «Перебои в смерти» (2005) вызывает сейчас такие же споры, как и его скандальное «Евангелие от Иисуса». Впервые на русском языке.

ЭКСМО

ISBN 5-699-18377-9



9 785699 183777 >

Величайшая наша трагедия — в том, что мы не знаем, что делать с жизнью.

— Жозе Сарамаго

Сарамаго меня просто поразил.

— Джон Фаулз, английский писатель